



•Борис Изюмский •Тимофей с Холопьей улицы •Ханский ярлык•



Борис Изюмский
Тимофей с Холопьей улицы
Ханский ярлык

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





Tony Brown

Борис Изюмский

Тимофей с Холопьей улицы



Ханский ярлык

→ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ ←



МОСКВА
•ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА•
1975

Р2
И39

Рисунки И. С. Кускова

Изюмский Б. В.

И 39 Тимофей с Холопьей улицы. Ханский ярлык.
Исторические повести. Рисунки И. Кускова. М.,
«Дет. лит.», 1975.

224 с. с ил.

В книгу включены две исторические повести: «Тимофей с Холопьей улицы» — о жизни простых людей Новгорода в XIII веке, «Ханский ярлык» — о московском князе Иване Калите, которому удалось получить ярлык в Золотой Орде и тем усилить свое княжество. Издается к 60-летию автора.

70803—308
И М101(03)75 361—75

Р2

© Состав Иллюстрации частично «Тимофей с Холопьей улицы».
Издательство «Детская литература», 1975 г.

И СНОВА В ПОИСКЕ

Если бы, не называя имени Бориса Васильевича Изюмского, вспомнить только главных героев его книг, то и тогда мы узнали бы о его творческих исканиях и привязанностях. У него свои, близкие ему темы, свои излюбленные герои. Пишет он чаще всего о юношестве, о молодом современнике, но любовь и пристальное изучение героического прошлого нашей Родины пронес через весь свой творческий путь.

Борис Васильевич Изюмский принадлежит к тому поколению писателей, которое пришло в литературу, начав свою жизненную школу в канун войны, в военную пору и сразу после ее жестоких испытаний.

Родился он на Волге — в марте 1975 года Борису Васильевичу исполнилось 60 лет, — но юношеские годы провел в Таганроге. Здесь окончил среднюю школу, работал грузчиком, токарем, здесь вступил в комсомол, отсюда уехал учиться.

Окончив исторический факультет Ростовского педагогического института, учительствовал в школах Ростова-на-Дону, часто выступал на страницах газет. Как и многие литераторы, свою писательскую деятельность начал со стихов. Но первый сборник — «Раннее утро», не стихи, а рассказы — вышел в 1946 году.

В самом начале Великой Отечественной войны молодой коммунист, учитель-историк и начинающий писатель добровольцем уходит в армию. Служит в артиллерии, командует стрелковой ротой, участвует в боях за Сталинград. В 1944 году, после ранения и пребывания в госпитале, был направлен в только что сформировавшееся Новочеркасское Суворовское училище, где прослужил семь лет. Здесь, зимой 1944 года, впервые повстречался с известным писателем Иваном Дмитриевичем Василенко, ставшим для него и учителем, и наставником.

И. Д. Василенко приехал в Новочеркасск, чтобы написать книгу о суворовцах. Познакомившись с молодым офицером-преподавателем, прочитав его первый рассказ — «Элегия Рахманинова», Василенко отнесся к его творческим поискам душевно и внимательно. А прощаясь,

посоветовал: «Я о суворовцах напишу небольшую брошюру, а вот вы, живущий в самой гуще училища, должны написать большую повесть».

Борис Васильевич рассказывает, что слова своего наставника он воспринял как наказ. Через пять лет после памятной встречи появилась его «Алые погоны», принесшие ему широкое общественное признание.

О годах пребывания в Суворовском училище Б. Изюмский всегда вспоминает с особой теплотой и благодарностью. Здесь он заново пережил свои фронтовые годы, так как пытливые суворовцы просили рассказать об узнанном, увиденном и пережитом на войне. Да и как писатель Борис Изюмский сложился именно здесь, в годы работы над повестью «Алые погоны».

«Алые погоны» — одна из наиболее известных и любимых юношеских книг. Созданная на совершенно новом для того времени материале о Суворовском училище, его воспитанниках и воспитателях, повесть и сейчас имеет тысячи друзей в нашей стране и далеко за ее пределами. Книга издана в Венгрии и Чехословакии, Польше и Румынии, Болгарии и Китае и на многих языках народов Советского Союза.

Суровый и романтичный быт, духовный рост и физическая закалка юношей, воспитание современного офицера, боевые традиции прошлого и немеркнущая слава героев минувшей войны, особый мир училища, когда для многих, потерявших родных и близких во время войны, это и дом родной, и семья, и родниковой чистоты искренняя дружба,— все нашло в повести свое глубокое выражение.

Долгие годы писатель вынашивал мысль о продолжении повести «Алые погоны». Было так важно проследить, как сложились судьбы бывших суворовцев, кем они стали, помнят ли и хранят ли традиции своего Суворовского училища?

Судьбы многих бывших суворовцев действительно интересны и поучительны. Есть среди них опытные командиры стрелковых дивизий, танковых и ракетных подразделений. Есть слушатели Академии Генерального штаба и преподаватели военных академий. Со многими бывшими суворовцами писатель поддерживает и сейчас тесную связь.

Через четверть века после выхода в свет «Алых погон» появилось продолжение этой необычной книги — «Подполковник Ковалев» — о судьбах суворовцев, о нелегких буднях в мирное время солдат и офицеров Советской Армии.

Близка «Алым погонам» по своим мотивам и настрою и книга «Призвание» — повесть о школе, о людях, работающих по призванию сердца, о вдохновенном мастерстве учителя, о труде педагогов в воспитании детского коллектива.

Роман «Девять лет» представляет собой как бы художественный итог многолетней работы и дружбы Б. В. Изюмского со своими ге-

роями — строителями нового города Волгодонска и комбината-гиганта химической индустрии. Действие романа развертывается на стройках, в цехах только что возведенного химического комбината, в аудиториях университета, в классах школы-интерната, в кабинете секретаря горкома партии, на праздничных вечерах, в семьях людей труда.

Значительное место в творчестве Б. В. Изюмского занимают произведения на исторические темы для школьников. Его повести — «Бегство в Соколиный бор», «Ханский ярлык», «Тимофей с Холопьей улицы» и «В поисках доли» — небольшие, но емкие произведения, написанные с глубоким знанием материала.

Повести, входящие в настоящий сборник, заслуживают особого внимания: столь они необычны и интересны.

Повесть «Ханский ярлык» посвящена началу борьбы русского народа за национальную независимость против монголо-татарского ига в первой половине XIV века, возвышению Москвы и объединению вокруг нее отдельных разрозненных княжеств.

Две главные, органически слившиеся сюжетные линии пронизывают это повествование: события, связанные с московским князем Иваном Калитой, его окружением, и с одним из вожаков беглых крестьян, беззаботно смелым и отважным воином Бориской и его сподвижниками. В основе повести лежат подлинные исторические события. И восстание в Твери, вызванное жестокими насилиями татар и местных правителей, и поездка князя Калиты в столицу Золотой Орды, его стремление получить право великого княжения, жестокая расправа Калиты с другими владетельными князьями, его деятельное собирание русских земель вокруг Москвы — все это суровая правда определенного исторического этапа в жизни нашей страны.

Повесть «Тимофей с Холопьей улицы» рассказывает о талантливом человеке, мечтателе, выходце из народа, жившем в древнем Новгороде (XIII век). Главное внимание автора сосредоточено здесь на раскрытии народного характера, на прославлении силы народного духа.

Тимофей — новгородец, именем которого названа повесть, всей своей жизнью, стремлениями, удачами и бедами связан со своей средой, трудовыми людьми. Но мечтательному юноше с правдивой и открытой душой довелось пройти через многие тяжкие испытания, прежде чем он осознал в чем же таится подлинная правда жизни.

Красочно показаны в повести картины народного восстания в Новгороде, походов и боев. Запоминаются фигуры князя Мстислава, неутомимого водителя новгородских дружины, влюбленного в воинское дело, за свои удачи прозванного Сильным соколом, жестоких и коварных — посадника Незды и новгородского владыки Митрофана. Чувства симпатии у читателей вызывают повидавший многое в жизни

наставник Тимофея кузнец Авраам и смелый и верный в дружбе богатырь Кулотка.

Перед писателем, разрабатывающим исторические темы, всегда стоят трудные задачи — суметь показать эпоху, воссоздать картины далекого прошлого, характеры людей тех времен.

В своих повестях Борис Изюмский сумел рассказать о такой далекой поре и таких сложных этапах исторического прошлого, о которых вообще скучны даже специальные исследования. Автору пришлось идти непроторенными тропами, выступать в качестве изыскателя, по крупицам собирать материалы в древнерусских летописях, в различных исследованиях историков, археологов, этнографов и языковедов.

Бесспорным достоинством произведений Б. В. Изюмского является то, что они находятся в русле лучших традиций советской исторической прозы, отличающейся умением, говоря словами А. М. Горького, обнаруживать «проникновение в дух и плоть» изображаемой эпохи.

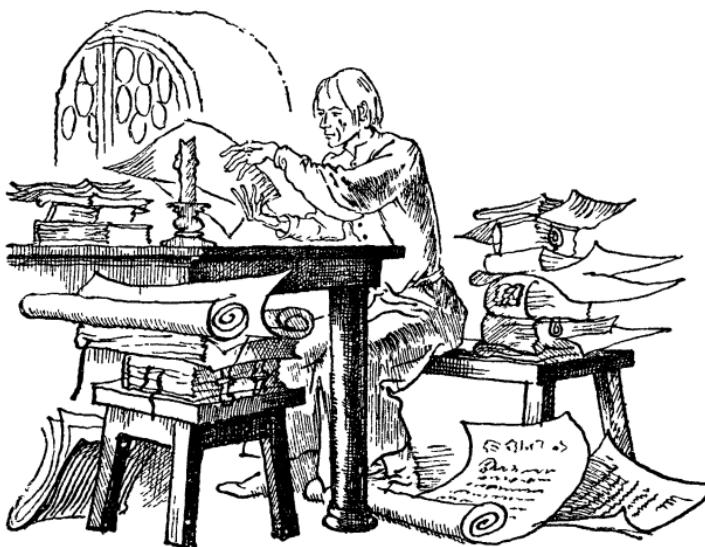
Исторические повести Б. В. Изюмского интересны для любого читателя, но адресованы они прежде всего юношеству. Не случайно в школьных учебниках по истории и методических пособиях для учителей они рекомендованы как произведения для внеклассного чтения.

Писатель работает много и плодотворно. Он в постоянном творческом поиске и не только тем и героях, но и в поисках выразительных художественных средств.

Творчеству писателя присущ ясный и точный взгляд на мир, любовь к своему народу, своей стране. Это художник, смело вторгающийся в жизнь, отстаивающий принципы коммунистической нравственности, верность идеям партии и народа. Книги его полны оптимизма, герои его повестей всегда на передовых рубежах жизни.

К. И. Шаромов

Тимофей с Холопьей улицы





РОБКИЕ РАДОСТИ

Тимофеи возвращался от кузнеца Авраама вечером. В подмерзших лужах отсвечивали звезды. Воздух был по-весеннему чист, и от Волхова шел колкий, освежающий холодок. Хрустели тонкие льдинки под ногами, и, казалось, в лад с ними звенело сердце от только что испытанного счастья, когда слушал «Слово о полку Игореве». Авраам приютил у себя прохожего монаха, и тот по памяти читал это «Слово...», услышанное им недавно в Киеве.

В кузнече Аврааме Тимофеи неожиданно обрел для себя пеструна-учителя.

Был Авраам широкоплеч; на темную гриву волос его, стянутых ремешком по высокому челу, легла широкая седая прядь. Седые нити в густой бороде, выдавая возраст, не ладились с молодыми приметливыми глазами.

Как-то, еще несколько лет назад, принес Авраам отцу Тимофея в починку свои сапоги из конской кожи, с высоким железным подбором и гвоздями по всей подошве. Отец, поглядев на отвалившийся каблук, хмыкнул:

— Не поймешь: кузнец громыхалы сии делал или наш брат сапожник?

Авраам усмехнулся:

— Кто бы ни делал, а верно послужили.

Тимофе́й в это время сидел у окна — резал кожу для ремней. Вот с того прихода и привадил кузнец Тимофея, зазвал его к себе в гости.

Жил Авраам на Розваже — улице Неревского конца у земляного вала, — жил бедно, с сестрой старше его лет на десять, племянником и матерью, древней старухой.

Тимофе́й зачастил к кузнецу: жадно слушал его рассказы о дальних народах и странах, где довелось побывать ему, о чудных обычаях, а потом стал Авраам обучать его грамоте. Читали Часослов, Псалтырь, Евангелие, писали на кусках березовой коры. В фартуке, с засученными рукавами кузнец присаживался к пеньку-столу и, неловко держа в огромных прокопченных пальцах костяное острие, процарапывал на бересте буквы, складывал из них слова.

Нынешний вечер был для Тимофея настоящим праздником.

Когда монах произнес: «Солнце светит на небе. Игорь князь в русской земле!» — Авраам, вспомнив, как в скитаниях тосковал по родной земле, побледнел от волнения:

— Истинно так... По Отчине и кости плачут...

...Сейчас, снова переживая этот вечер, Тимофе́й думал: «Вот бы написать «Слово о Новгороде», о Волхове величавом, что скоро покатит неторопливые волны свои мимо лесов, мимо древних селений...»

Луна проложила через реку серебряный мост. Было светло как днем. Впереди Тимофея, дробно постукивая каблуками по деревянному настилу, шла девушка в шубке из бархата, подбитой мехом, в шапке-столбунце, из-под которой свешивались косы с красными лентами. Рядом с девушкой плыла, раскачиваясь, полная пожилая женщина. Тимофе́й слышал, как она сказала с опаской:

— Пойдем скорее, Оле́нька, боязно!

— Да ну, тетя, чего бояться! — громко, не для тетки, ответила девушка приятным грудным голосом.

И эта Оле́нька тоже была в «Слове» о Волхове, о Новгороде, о луне, заливающей землю светом, о нем — пусть некрасивом, никому не нужном и все же счастливом Тимофеем.

Они уже миновали на Великой улице двор с высоким жердяным оградой, за которым глухо рычали спущенные на ночь с цепей собаки, когда откуда-то вынырнули подгу-

лявшие парни. Один из них, плюгавенький, вертлявый, подскочил к девушке, хихикая, попытался обнять ее.

Кровь прихлынула к лицу Тимофея, не помня себя от гнева, он бросился на обидчика, но его сразу оглушили кистенем¹, сбили с ног, стали топтать сапогами.

— Помогите, люди добрые, помогите! — закричала тетка Ольги, прикрывая собой дрожавшую от испуга девушку.

В дальнем конце Козьмодемьянской послышался торопливый бег: кто-то спешил на помощь. Налетчики трусливо разбежались, оставив Тимофея на промерзшей земле.

Тетка Ольги склонилась над ним. Лицо его с коричневым родимым пятном на левой щеке было бледно, окровавленно. Ольга, всхлипывая, пробила ледок подмерзшей лужи, смочила платок и подала его. Женщина стала обтирать Тимофею лицо.

В это время к ним подоспал спугнувший налетчиков немного хмельной молодой грузчик Кулотка — гроза Новгорода и главный озорник его. Богатырского роста, с мускулами, которыми, казалось, до отказа был набит его небрежно распахнутый кожух, Кулотка вопрошающе поглядел на женщин. Узнав в чем дело, легко, как ребенка, поднял на руки все еще не очнувшегося Тимофея, спросил, усмехнувшись:

— Куда нести-то храбра?

— Да отнеси, добрый человек, к нам. Куда же его, такого,— решила тетка.

— Тошенький, а смелый,— робко поглядела на него Ольга и вздохнула.

После этого случая Тимофея, поправившись, заходил иногда к новым своим знакомым, в семью весовщика Мячиня. У Ольги были еще четыре сестры, все старше ее и все незамужние. Мать умерла при родах Ольги, и девочку баловали в семье.

Невысокая, со вздернутым носиком, с ямочками, играющими на щеках, с голубыми спокойно-лукавыми глазами, была она себе на уме, тихоней, от которой жди неожиданностей. К Тимофею относилась по-разному: то становилась строгой и важной, то шалила. Она умела взглянуть как-то по-особому, словно зовя и убегая. И в этом мгновенном взгляде снизу вверх были и лукавство, и робость.

¹ Кистéнь — гирька на ремешке.

Она любила смущать Тимофея. Невинно распахнув глаза, приблизит их к нему и скажет:

— Да ты погляди, погляди лучше!
Очи-то у меня разноцветные!

Он бормотал, ошелоел отворачивая голову, краснея:

— Да ну там...

Но все-таки глядел.

И правда, один глаз у нее темнее другого, почти синий. Но и это нравилось ему, как и все в Ольге.

А она, довольная его смятением, тихо смеялась. И смех у нее был какой-то особенный, воркующий.

Ольга сразу почувствовала свою власть над Тимофеем и гордилась, что вот такого, застенчивого, не похожего на всех, сделала ручным, привязала к себе покорной тенью. Но стоило ей не видеть Тимофея несколько дней, как она не только не скучала по нем, но даже переставала и вспоминать и улыбкой «себе на уме» поддразнивала уже других.

Как-то Тимофей зашел к Мячиным с другом своим Лаврентием, и ему очень не понравилось, что Лаврентий стал увиливаться вокруг Ольги.

«Вот ты какой!» — сердито думал Тимофей, когда они возвращались от Мячиных. Он решил не приходить больше сюда с Лаврентием, но через несколько дней устыдился этой мысли и, виновато улыбаясь, спрашивал друга:

— Когда снова к Мячиным-то пойдем?



Многих удивляла дружба Тимофея с Лаврентием — сыном богача Незды. Дружили они еще с малых лет, когда вместе совершали набеги на Нередицкий холм, откуда открывался весь Новгород, бегали по земляному валу, что опоясывал город, прятались в рябиновой чащобе и хмельниках.

Живой, быстрый в движениях, Тимофей везде бесстрашно заступался за медлительного, неповоротливого Лаврушу.

В какие бы игры ни играли — в кожаный ли мяч, набитый мохом, в бабки ли,— Лаврушу неизменно преследовали неудачи и над ним издевались за нерасторопность, неумение, за то, что неуклюже бегал, переваливаясь на коротких кривэвятых ногах, издевались над тем, что торчат у него большие уши, лоснится круглое жирное лицо. Мальчишки, даже меньшие возрастом, били Лаврушу, требовали за проход по улице пряников. Только заступничество Тимофея спасало его от этих притеснений.

И Лавруша как умел отвечал привязанностью. Однажды Тимофеем, прыгая с забора, проколол себе насеквоздь ногу гвоздем. Обеими руками сдернув ее с гвоздя, он скатился на землю, стал прикладывать к ране пучки травы. Подбежавший к нему Лавруша, ни мгновения не колеблясь, стащил с себя рубаху, рванул ее, протягивая другу холщовые полосы, забормотал:

— Бери, бери...

Да, как ни удивлялись на улице этой дружбе, а она не прекращалась и с годами даже крепла.

Пролетело отрочество... Тимофеем вытянулся, под рубахой у него проступили острые лопатки, а на лице со впалыми щеками, резко очерченным подбородком, широкими, сухими, словно от неутоленной жажды, губами, полыхали огромные, строгие глаза. Лаврентий же, напротив, более прежнего раздобрел, оплыл, как свеча, у него появились два подбородка, уступами сбегающие к жирной шее, пухлые пальцы рук словно кто-то перевязал нитками, а мутноватые со ржавинкой глаза едва виднелись. Как и прежде, при ходьбе у него терлись щиколотки ног, в бедрах стал он много шире, чем в плечах, как и прежде, любил поесть и особенно — поспать.

— Вот ладно кто-то придумал, что можно спать,— сказал он однажды Тимофею, поскребывая щеки, покрытые скучной рыжеватой растительностью.— Хорошо, что не лошади мы и спим не стоя...

Грамоте Лаврентий обучался дома — приходил к нему монах. Но учился неохотно, под нажимом, готовый каждую минуту улизнуть от мучителя, и боярин Незда в конце концов с презрением махнул на сына рукой: «Слякоть, а не наследник». Решив же так, перестал обращать на него внимание.

В ПОХОД

Весна шла по новгородской земле, как всегда, неторопливо, приостанавливаясь, чтобы набраться сил и продолжать нелегкий путь сквозь заморозки.

В лесах меняли рога лоси, отбирали дупла у дятлов белки, из-под снега то там, то здесь победно пробивалась пролеска, радуя сердце веселой зеленью, и подсохшие проталины приветно зазывали к себе первых перелетных птиц.

На улицах Новгорода с утра начинала отбивать свои песни весенняя капель. Ноздреватый снег осел, и под мостом появились впадинки, похожие на глубокие норы. Деловитые грачи ворошили белыми клювами мусор у свалок Торга.

А там уже запушились овеянные теплым весенником¹ вербы, вытянулись вдоль канав золотистые корзиночки мать-и-мачехи, сидя на плетнях, забили в колокольца овсянки, и сладкой слезой простиупил сок на березовой коре.

Воздух в эти дни был чистым, словно настоенным на травах. Тимофея ходил как хмельной, вбирав в себя весну, щурясь на пригревающее солнце, прислушиваясь к говорку ручьев. Не его ли, Тимофея, зовет синица: «Ти-фи... Тифи...»? Не ему ли кивает пурпурной головкой медуница?

С детства любил Тимофея собирать цветы и травы, разглядывать каждую былинку, что попадалась на глаза. Бывало, пойдет с матерью по грибы и покоя не дает ей расспросами. И тащит домой найденное добро, рассказывает по заветным углам мохнатые ольховые сережки, ветки лесной, сладковато пахнущей козьей ивы, жука-цветоеда...

Но что это? Неужто вечевой колокол? Тимофея побежал к Ярославову дворищу.

Вечевой колокол гудел тревожно и требовательно, сзыпал на Великое вече.

У каждого колокола в городе был свой голос: один вызанивал глухо и тяжко, словно простыл; голос другого выплясал вольно и гибко, как лебедь на озере; третий бранчливо переругивалась тоненькими голосами.

Вечевой можно было узнать из сотен: в него били «в один край». Он звал, будоражил, ему нельзя было не подчиниться.

По Славной, Большой Пробойной, Буянной улицам, мимо низких лачуг, задымленных кузниц, мочил с кожами, от

¹ Весенник — южный ветер.

которых нещадно разило, спешили на площадь дегтяри, лодочники, шильники, котельники, перекликаясь на ходу, собирались под стяги своих улиц.

Тимофей устроился поближе к стёпени — высокому помосту, на котором уже стоял лицом к Волхову Незда с шейной печатью посадника на зеленом кафтане.

Незде на вид немногим более сорока лет. У него продолговатое, в холеной светлой бородке лицо с прямым хрящеватым носом, высокий лоб, тонкие извилистые губы. Темные глаза сидят глубоко, приглядываются ко всему с какой-то особенной сосредоточенностью, словно изучают, хотят проникнуть в скрытое от других.

Посадником боярин Незда стал недавно, но добивался этого долго и упорно.

Женившись по расчету на дочери тысяцкого Евпраксии — рыхлой, с большим вялым ртом женщине, много старше его,— Незда взял богатое приданое, пустил его в оборот и быстро пошел в гору. Он не брезговал ничем: давал деньги в рост, принимал вещи в заклад, скупал и перепродаивал меха, привозил из дальних стран редкие сорта деревьев — самшит, кедр, кипарис — и в тридорога продавал их новгородским умельцам.

Кроме дома в Новгороде, у Незды было еще сто четырнадцать деревень, владения на Ваге и Двине, борти, леса, рыбные тони, соляные промыслы и становища звероловов.

Как никто другой, умел Незда вовремя выкатить на улицу бочки с брагой, подпоить нужных ему на вече сообщников, подкупить крикунов — у него было несколько сот наймитов на жалованье.

На людях ласковый, обходительный, умеющий хлебосольно принять, поговорить и о ритории, и о ценах на хлеб, он ни перед чем не останавливался, если хотел достичь цели. Даже самые близкие к нему люди только предполагали, что с его именем должно связать и убийство не угодных боярам сузdalских сторонников, и странную смерть недавнего посадника Михаила. Когда чернь с Холопьей улицы пыталась сбросить в Волхов посадника Константина, Незда только знак подал своим наймитам — и те разметали мятежников. Но эту же чернь он сумел использовать, чтобы изгнать из города сузdalского князя Святослава.

...Рядом с Нездой на помосте стоял сухощавый тысяцкий Милонег, опоясанный золотым шитьем.

У боярина Милонега кожа в редких волосках натянута

на скулы пергаментом. Двумя пальцами Милонег то и дело многозначительно поглаживает уголки брезгило опущенных губ.

Возле тысячного остановился его племянник — сотский Дробила. Недобро, словно изучая, глядел маленькими глазами на уличан¹, подступивших к лавкам внизу; на немногих лавках этих сидели бояре.

Лицо у Дробилы красное, и когда он хмурится, низкий лоб пересекают две продольные багровые линии. Новгородцы прозвали Дробилу Лысым быком; он знает это, но никто никогда не осмеливается назвать его так в глаза.

У другого конца помоста прежний посадник Захар Ноздрицын — высокий, с крупным, нависшим над губами носом, с кустиками седых волос в ушах — о чем-то говорил двум кончанским старостам, склонив к ним свою большую голову.

Народ тек непрерывным потоком с Плотницкого, Славенского концов, перебегал через мост с Софийской стороны. В дальних улицах Гончарского конца бирючи², надувая багровые щеки, продолжали скликать трубами.

«Многонародство какое!» — поглядел Тимофей на площадь и с восхищением подумал, что именно здесь Господин Великий Новгород указывал путь неугодному князю, говорил бесстрашно: «Иди, откуда пришел, ты нам не люб».

Вдали, возле лавок Великого ряда, Тимофей увидел Кулотку — тот на голову возвышался над всеми,— у вечевой башни приметил Авраама, а отца Ольги — у церкви Николы.

Незда беспокоился: запаздывал владыка. Обычно он не бывал на вече, но сегодня обещал прийти для благословения.

С утра у Незды болел зуб. Он клал на него корень девясила — боль утихла, и теперь Незда, опираясь на жезл, все прислушивался, не возникнет ли боль снова. Не любил квелых и слабых, сам никогда ничем не болел и эту зубную боль принимал как неожиданное несчастье.

Глядя на море голов, разлившееся от Готского двора у берега до церкви Успения, на опашни, поддевки, Незда замечал у многих в руках топоры, дубины-ослопы, а кое на ком и брони. «Попробуй устрани таких — костей не собе-

¹ Уличане — горожане.

² Бирючи — вестники, глашатаи.

решь,— думал он.— А держать в покорстве — то для умного мужа». Посадник покосился на своих уже подвыпивших молодцов в дальнем конце площади. Они только ждали знака для крика и потасовки. «Понадобятся ли? — продолжал размышлять Незда.— Вчера на Тайном совете решили объявить поход против тевтонов, что закрыли новгородским купцам путь к Двине, но выступить надо под стягом защиты эстов... Пусть чернь так мыслит».

Он вспомнил этот вчерашний Тайный совет. Собирались с опаской. Заходили в собор словно бы помолиться и потом уже тайным ходом проникали в дом владыки. О совете в городе ведали только те, кто входил в него, и все самые важные решения сначала принимали здесь.

«Одной силой и подкупом удержать чернь в повиновении нельзя,— думал Незда.— Надобно временами и заигрывать с нею, бросать подачки, уступать в малом, чтобы в большом заграбать жар ее коростными руками».

Недавно в «Римской истории» Веллея Патеркула он прочел: «...все действия трибуна на пользу плебеев совершались только для приманки и обольщения толпы...»

Он мысленно с наслаждением повторил эту фразу: «...для приманки и обольщения...» Умные люди и прежде понимали сие!

Показался в полном облачении владыка Митрофан. Он был величав, и с его бледного лица мрачно глядели на толпу большие властные глаза.

Бирючи в фиолетовых кафтанах раздвигали толпу, проходивая владыке дорогу к стёпени.

Появление владыки встревожило вече. «Пошто он явился?» — можно было прочитать у всех на лицах.

Митрофан неторопливо опустился на лавку помоста рядом с именитыми боярами.

Незда едва заметным движением руки подал знак — колокол оповестил о начале веча.

Сняв соболью шапку и подойдя к краю стёпени, Незда склонил голову, пальцами прикоснулся к помосту:

— Вечу Великому, Господину Новгороду земной поклон!

Раздались крики:

— Новгород слушает!

Посадник долго не выпрямлялся, потом, разогнув спину, возгласил в наступившей тишине:

— Собрались мы, граждане, дабы решить, доколе



Незда стоял на высоком помосте и смотрел на народ. «Попробуй устрани таких — костей не соберешь...»

тевтоны подлые будут притеснять беззащитных эстов? Доколе? Не корысть зовет нас, братья, на помощь к ним, а сердце друзов...

Авраам громко сказал отцу Тимофея:

— Кровью сынов наших хочет Незда добро приумножить!

Отец рванулся к посаднику:

— Мало те, грабитель!

Каждый век имеет свое лицо и свою поступь.

Новый, тринадцатый начался неспокойно. Тень крестоносцев нависла над Приморьем, их окровавленный меч все рушил на своем пути. Как зловещие призраки, вырастали орденские замки Икескола, Гольмэ, Венден... Где-то на краю новгородского неба клубились мрачные тучи, и отсветы дальних пожарищ незримо ложились сейчас на вечевую площадь, на Волхов, на сумрачные лица уличан.

На мгновение скрылось за тучу солнце, и сразу стало пасмурно, и о берег слышно забила волна.

Напрасны были опасения владыки и Незды, что новгородцы не проявят единогласия, не захотят идти в поход, что понадобятся наемные горланы и потасовщики: «голоса сошлись все на одну речь», отвечали «едиными устами».

Всяк, кто был на этом вече, сердцем почувствовал, как велика опасность: рыцари посягали на Двину, возмечтали овладеть водным путем, схватить Новгород за горло.

На помост взошел изможденный эст с гладко зачесанными ржаного цвета волосами, обратился к вече на ломаном русском языке:

— Много не скажешь, когда сердце обливается кровью... Рыцари опустошают нашу землю... Грабят — «вы наш корм»... Младенца к матери вяжут, за конем волокут... Сил нет... поднялись виронцы, роталийцы, гарлонцы, жители Сакаллы... Послали сказать вам: братья, помогите! Братья!

Он упал на колени, простер к вече руки, на лице его были написаны мольба и страдание.

Вече заклокотало, как Волхов в непогоду:

— На тевтонов!

— За новгородскую правду! В поход!

— Встанем насмерть!

— Положим головы за святую Софию!

— Изомрем честно
за Отчину!

— На тевтонов!

И Тимофея кричал
исступленно:

— В поход!

Думал недовольно
об отце: «Зачем он так,
когда надобно одиначе-
ство... Разве можно в
помощи отказаться!.. Да я
первый, хоть и не воин,
пойду!»

На Софийской сто-
роне небо заволокло
темными тучами, а на
Торговой продолжало
ярко светить солнце, и
от этого тучи над Софи-
ей казались еще темнее
и чудилось: белые стены бесстрашно прорезают их, взви-
ваются в синь.

Шум утих, когда владыка поднял, словно для благосло-
вения, руку. На его зеленовато-бледном лице простили
крупные капли пота.

— Оружье на врага! — тихо произнес владыка, но люд-
ское эхо пронесло его слова до самого края площади.—
Огнь, опали противных! И да утишит бури святая София,
да отразит напасти и охранит грады наши! С нами честный
крест и правда! В поход!

Закричала площадь, потрясая оружием над головами:

— В поход!

«Старый ворон даром не каркнет», — одобрительно по-
думал Незда о владыке и прошептал вечевому дьяку:

— Читай!

Тот встал:

— «От посадника Великого Новгорода Неэды и от всех
старых посадников, и от тысяцкого Великого Новгорода
Милонега, и от всех старых тысяцких, и от бояр, и от жить-
их людей, и от купцов, от черных людей, от всего Великого
Новгорода, от всех пяти концов на вече, на Ярославском
дворе, положили...»

— В поход! В поход! — требовало в один голос вече.

...Вступив в ополчение, Тимофе́й не сразу пошел домой, а долго еще стоял у берега Волхова, задумчиво глядя вдаль.

Солнце, похожее на раскаленный, медленно остывающий щит, уходило за стены Детинца¹, и вдоль берега загорались на воде золотые костры. По течению реки легко скользила узкая ладья.

Тимофе́й медленно пошел улицами города, миновал двор, где строили стенобитные машины — пороки, и повернулся в боковой проулок. Щедро развесила свои сережки ольха, в воздухе стоял запах свежего теса. Из мастерских еще доносились шумы трудового дня: не приглушенные, усталые, как это можно было ожидать, а яростные, спорящие с наступающей ночью.

Тимофе́й остановился на холме.

У города был свой голос: перекликались наковальни, мягко шипело под резцами станков дерево, плескалась о берег речная вода, серебристо звенели деньги.

Быстро смеркалось. На оранжевом небе чернели купола церквей, колокольни, деревья, зеленовато-оранжево отсвечивал Волхов. Потом на небе осталась лишь багряная полоса, а по реке шумливо побежали к берегу волны, поднятые караваном плотов.

Тимофе́й и не предполагал, что так любит свой город! Здесь излазил он каждый закоулок, исходил броды ручьев, сиживал на горках у Жилотуга и Гзени², тонул в Мячином озере, сваливался с дерева у Антониева монастыря. На княжеском городище его застигала гроза, и он укрывался в подземелье давно порушенного храма.

Все было дорого его сердцу в этом городе: и перунья, священная роща на берегу Ильменя, куда, по преданиям, ходил грустить Садко, и свинцово-бурье волны широкого Волхова, и эти бесчисленные, умеющие молчать соборы и монастыри, словно выросшие из самой новгородской земли, неотделимые от нее или построенные одним зодчим, влюбленным в бескрайние просторы, в суровую простоту.

— Прощай! — шептал Тимофе́й городу.— Увижу ли тебя, увижу ли Оле́ньку?

В последний свой приход к ней Тимофе́й услышал, как отец, завидя его в калитке, сказал Ольге сердито:

¹ Детинец — крепость.

² Жилотуг и Гзень — речки, впадающие в Волхов.

— Опять этот голодник!.. Нече приваждать.

Оскорбленный Тимофей повернулся и, ни слова не промолвив, ушел. И сейчас не пойдет. А вот возвратится из похода... тогда...

Вдали, в центре города, могуче возвышался шестиглавый Софийский собор. И Тимофею казалось, что это стоят плечом к плечу шесть братьев-богатырей: старший и пять помоложе, все в шеломах, и тоже зовут новгородцев в поход.

БОЙ У ОТЕПЯ¹

Возглавил новгородское войско торопецкий князь Мстислав Удалой, правнук Владимира Мономаха.

Был Мстислав человеком вспыльчивым, самолюбивым, не однаждыссорился с Новгородом, но быстро отходил от обид, если видел в том для себя выгоду, и увлекался заманчивым ратным делом.

Приглашенный новгородскими боярами возглавить поход в земли эстов, Мстислав для приличия немного покуражился, а потом, выговорив себе право беспрекословно распоряжаться войском, согласился и с присущим ему рвением повел подготовку похода. Начал он с обучения воинов: как вести сторожевое охранение, заманивать бегством, устраивать засады, кострами показывать ложный лагерь. Отдельно обучал копейщиков и щитоносцев, как, сомкнув щиты и выставив копья, ударять по неприятельским «крыльям».

— В бою не озирайся,— говорил он,— и ведай: коли побежал в страхе — до беды добежишь. Тебе же лучше, если будешь крепко за щитом стоять.

Потом для перевозки раненых выделял коней, по двое соединял их оглоблями с натянутым холстом.

Мстислав собрал сотских отдельно у себя в шатре, за городским валом. Усадив наземь, на звериные шкуры, постоял в раздумье, оглаживая темную, ладно вьющуюся бородку, скрывавшую сабельный шрам.

Мстиславу лет тридцать семь. Высокий, худощавый, он оставлял впечатление человека прямых, открытых действий. Обветренное лицо с густыми бровями, отвисшими усами, оттеняющими губы, было сейчас утомлено.

— Хочу остеречь вас, вси,— поднял он серые глаза,—

¹ О т е п я — «Медвежья голова».

не ставьте недруга овцой, мол, седлами закидаем, а ставьте волком и к схватке готовьтесь, не жалея пота. Лежаньем города не возьмешь. Заранее хочу обучить вас, как управлять боем... На то у вас стяги и трубы...

И он терпеливо стал объяснять, как во время боя собираять под стяги своих воев, показывать стягами, где враг, трубить нападение:

— Коли, стяг возволочен¹, то — начало боя. Старайтесь вражий стяг подсечь на позор и поношение врагу!

Отпустив сотских, Мстислав еще долго шагал по шатру. «Что еще надобно сделать? — думал он.— Построить камнеметы... всем конникам и пещцам раздать топорцы, чтобы держались на ремешке, пока из луков стреляют... В неприятельский стан охотников заслать в тевтонской одежде...»

Мысль невольно обратилась к Новгороду. Быть в нем князем не хотел — небезопасно и хлопотно это в непокорном городе, а вот ходить в его защитниках... и чести прибавляло, и выгоды сулило немалые.

После холодных новгородских утренников зацвели наконец лилово-розовые кустарники пахучего волчьего лыка, развернулись листья черемухи, и осиновый пух стал комьями лепиться к ветвям деревьев.

В эти дни перелома к лету и решил Мстислав выступать.

Шестнадцатицентурное войско его, состоящее из дружин, охочих людей народного ополчения, владычного полка и полка, собранного в волостях — от четырех сот одинвой,— двинулось пеше, конно и на ладьях к чудской земле. Впереди сторожа, затем рать и наконец обозы с кормом и доспехами. Где надо, прокладывали мости и гати; останавливаясь на отдых, окапывались, расставляли вокруг повозки, и неутомимый Мстислав по нескольку раз за ночь обезжал посты, наказывал нерадивых.

Как-то на рассвете, когда солнная одурь валит даже самых крепких, он обнаружил прикорнувшего лучника Панфилку, что поставлен был стеречь обоз. Задрожав от бешенства, князь, не слезая с коня, стал плетью стегать оторопелого Панфилку:

— Будешь, холоп, службу нести как след? Будешь, голь поганая?

Рот его дергался, глаза побелели.

¹ Возволочить — поднять.



Кулотка проснулся от криков. Увидя окровавленное лицо лучника, подскочил к князю и, не думая, что делает, поддаваясь только чувству возмущения, рывком стянул Мстислава с коня, прохрипел:

— Пришибу! Думаешь, как князь, так те честь новгородска ни во что? Бей своих дружинников!

Рядом с Кулоткой выросли еще несколько бородатых воев с рогатинами в руках.

— Полегче,— раздался сиплый голос одного из них.

Мстислав, опомнившись и зная, что с новгородцами шутки плохи, прошел свирепо:

— Одна кость! — вскочил на коня и ускакал.

Оставшиеся молчали. У них уже отлегло от сердца, и они теперь чувствовали неловкость, что были так непочтительны к своему князю: чуть, грешным делом, не намяли ему бока.

— Строгонек! — снисходительно сказал наконец невысокий большелобый кузнец Есип, глядя в сторону исчезнувшего князя и виновато почесывая затылок.

— Службу любит, Сильный сокол,— произнес тот же сплюшной голос, что еще недавно предупреждал князя с угрозой: «Полегче».

Сильным соколом называли Мстислава заглавно, гордясь его смелостью.

Кулотка, вдруг снова рассвирепев, набросился с руганью на Панфилку:

— Ты чё, хухря¹, воевать пошел, аль пузо чесать?

Он в сердцах огrel Панфилку кулаком по шее, плонул и отправился досыпать.

На третий день пути добыли вести: из города Кирэмпе, в верховьях рек Остры и Супоя, вышел две дневки назад обоз тевтонов. Мстислав наградил гонца и тотчас собрал сотских:

— Объявите охочим людям: кто со мной пойдет обоз перехватить?

Пожилой сотский Агафон заикнулся было:

— Негоже те, князь, самому ввязываться, чай, помоложе есть...

Мстислав гневно сверкнул глазами:

— То мне судить! Охотников пришлите к вечеру. Пусть головы окрутят убрусами, чтоб отличать своих в ночи.

Оставшись один, он продолжал обдумывать план ночных налета. Эту пусть маленькую, но дерзкую победу надо одержать во что бы то ни стало, тогда уверятся новгородцы в силе своей, взыграет в них боевой дух.

...Кто знает, что померещилось рыцарям, когда ночью обрушились на них со свистом и гиком дьяволы в белых арабских чалмах.

Успех превзошел самые смелые ожидания новгородцев. Одних только коней они захватили семьсот, перебили немало тевтонов, а в обозе у них обнаружили оковы, которые те везли для будущих пленных. Кулотка, потрясая связками оков, кричал восторженно:

— Рыли яму, да сами ввалились!

Ободренные первым успехом, новгородцы двинулись дальше, к реке Эмбах, где меж озер Чудским и Барца шли бои эстов с рыцарями за крепость Отепя.

Тимофея оказался в одном десятке с Кулоткой и очень

¹ Хухря (новгородское) — растрепа.

был этому рад. Они вместе участвовали в ночном налете на обоз, достали себе доспехи, коней. На Кулотке была сейчас кольчуга, в руках — топор, у бедра — меч: не успел положить свое снаряжение в обоз. И топор и меч Кулотки казались игрушечными, не по росту его. Тимофе́й нет-нет да и поглядывал на своего нового друга, невольно улыбаясь.

— Ну чего смеешься, тараканий богатырь? — делая вид, что сердится, спросил наконец Кулотка и ладонью слегка ударил по верхушке Тимофеева шлема.

Тимофе́й зашатался в седле.

Лаврентий тоже был среди ополченцев (Незда послал его, заботясь о своем имени), ехал, уныло свесив голову.

Покачиваясь в седле, Кулотка развлекал воев:

— Ночь-то темна, кобыла черна, еду-еду да пощупываю — тут ли она, везет ли меня?

Вои хохочут.

— Не поперхнется!

— Как бродом идет...

— Верно сказываю, — сохраняя серьезность, продолжает Кулотка. — А то, ребятки, еще вспомнил: стою я ономедни возле башни Детинца, ан женка Марфутка на возу едет, разогналась — хочет башню сбить. Я гляжу: куда башня полетит?

Новый взрыв хохота встречает и эту шутку.

— Ври, браток, да откусывай! — задорно прокричал Кулотке юнец с лицом, обросшим первым пушком. — Тебя послухать: на вербе груша!

Кулотка повел бровью в его сторону:

— Тож мне — браток! Ближняя родня — на одном солнышке онучи сушили! — И с серьезным видом, словно только что вспомнил наконец, где видел юнца, добавил: — Да это ты через забор козу пряниками кормил: думал, что девка?

...К Отепя, где на высоком холме с крутыми склонами засели рыцари, подошли в сумерках и обложили крепость со всех сторон полками.

Потекли ратные дни осады.

Одна сотня строила башни из бревен, другая неутомимо вела подкопы. Осажденные перехватывали подкопы встречными рвами.

На четвертый день осады рыцари прислали новгородцам записку на стреле: «Вам ли, свиньям, победить медведя? Пьет он воду из Двины, скоро напьется из Волхова».

Мстислав, прочитав это послание, заскрежетал зубами.

— Из Волхова воды не выпить, в Новгороде людей не выбить! — гневно сказал он и пошел к сотне, что возводила осадные башни: приказал строить и ночью.

На десятый день осады новгородцы подкатили башни к стенам крепости и из камнеметов стали бросать такие камни, что их едва поднимали четверо воинов.

Осажденные с вала скатывали огненные колеса, норовя попасть в башни. Отряду новгородских смельчаков удалось поджечь мост возле крепостных ворот. Тогда тевтоны прислали Мстиславу в знак перемирия копье; ожидая подкрепления, повели переговоры, стараясь затянуть их и выиграть время. Новгородцы доверчиво поддались на эту хитрость; когда же увидели вдали рыцарское подкрепление, оставили часть своих войск для продолжения осады, а остальных повернули лицом к пришельцам.

Подоспел и шеститысячный отряд эстов, влившийся в новгородское войско.

Наступила тревожная ночь. Каждому было ясно, что завтра — смертный бой, и та обманчивая тишина, что притаилась сейчас вокруг, делала предстоящее словно еще неизбежнее.

Кулотка и Тимофей, разбросав руки, лежали навзничь на заросшей ольхой и пахучими кукушкиными слезами лядине, вырубленной в лесу для посева. Не спалось. Июльские звезды помигивали в темном высоком небе. Зеленоватые искры светляков казались отражением звезд. От земли исходила теплая сырость, пахло лесной прелью. Временами где-то совсем близко тоскливо кричала выпелица, шелестел крыльями полуночник-козодой. Собственно, тишины не было. Лес жил своей особой,очной жизнью, наполненной вкрадчивыми шорохами, неожиданными звериными вскриками, писком летучих мышей, грузной медвежьей поступью, мельканием бабочек-совок, и человек здесь казался лишним и ненужным.

— Почему это,— шепотом спросил Кулотка, с трудом сдерживая готовый прорваться бас,— сначала блескавица¹ бывает, а потом гром?

Кулотка, как и большинство новгородцев, цокал, и поэтому у него получалось «поцему».

¹ Блескавица — молния.

Тимофе́й повернулся боком к Кулотке, оперся головой на руку:

— Да ведь, коли дровосек вдали древо рубит, мы прежде здим, как он замахивается, а следом стук слышим. Видно, стуку и грому тоже время надобно добежать до нас. Сначала Илья Пророк копье мечет, потом колесница его грохочет...

— Истинно! — радуется Кулотка.— Голова ж у тебя! — восхищенно говорит он.

— Как у всех! Вот возвратимся домой, я те грамоте обучу...

— Не-ет, куда мне! — беспечно тряхнул кудрями Кулотка.— Борода выросла, а ума не вынесла... У меня, кроме вот этого,— он поднял огромные, как кувалды, кулачи,— ничего нет. Не по моей головушке вся сия премудрая хитрость. Вот если те понадобится хрящики кому обломать, тут Кулотка первый человек!

Они снова умолкли. Тонко зудели комары, за бугром надрывались лягушки, от звездного Лося, стоящего головой на восток, отделилось и упало копытце.

— Ты о чём сейчас помыслил? — спросил Тимофе́й, продолжая смотреть в темень, где исчезла звезда.

— Да так...— вздохнул Кулотка.

Он постеснялся признаться, что думал о маленькой своей невесте Настеньке. Она одна умела и укротить его буйство, и нашептать такое, от чего сладко щемило сердце. Кулотка любил, взяв осторожно в свою ладонь крохотную руку девушки, нежно гладить ее и шептать бессвязные слова, такие непохожие на те, что говорил он обычно.

— А я... об одной...— тихо начал Тимофе́й.— Так она мне дорога и мила. Неужто не увижу боле?

Кулотка, словно страживая с себя наваждение, грубо расхохотался:

— Неча нам нюни распускать!

Тимофе́й наступился и умолк.

На рассвете войска выстроились друг против друга. Тускло блестели новгородские шеломы с шишаками, трепетали разноцветные стяги на копьях — у каждой сотни свой цвет. «Чело» — головной полк — Мстислав выдвинул, а «крылья» приказал ждать сигнала.

Впереди тевтонских рядов гарцевали на конях командо-

ры. Блажный ветер, налетая порывами, рвал их белоснежные плащи с нашитыми красными мечами и крестами, и чудилось: бьют крыльями хищные окровавленные птицы.

Тимофей, в шеломе с бармицей, прикрывающей затылок, напряженно вглядывался в неприятельское войско.

Все было необычно в это утро: и словно вздрагивающая пугливо земля, и чужое, суровое небо. Казалось бы, знакомо начинался рассвет — алыми волнами, голубыми разводами. Но к алому цвету примешивался свинец, а голубой был замутнен. И хмурый лес, виднеющийся вдали, темнел неприветливо и мрачно.

Тимофей снова подумал о возможной гибели своей и не поверил в нее, не смог представить, что мир останется, а он исчезнет.

Сбросив с головы шелом, отчего буйный чуб заиграл по ветру, на середину темно-бурого поля выехал Кулотка, оглядел неприятелей синими, охмелевшими от бесстрашения глазами, крикнул с издевкой:

— Кто, храбрецы, на левую руку пойдет? Ай животы свело?

От вражьего стана отделился всадник. Грудь его облегали латы. Кольчужные чулки, наплечники и наколенники довершали снаряжение. Был он так же высок, как Кулотка, и тоже для чего-то снял шелом. Льняные волосы обрамляли иссиня-бледное продолговатое лицо с тяжелым подбородком.

Рыцарь разгорячил коня и с копьем наперевес, держа его левой рукой спереди, а правой сзади и не выпуская повода, устремился на Кулотку. Вот он все ближе, ближе... Кулотка крутнул своего коня, сверкнул топор на длинной рукояти и, вонзившись в древко тевтонского копья, перерубил его.

Воинственно заиграли новгородские трубы, забили бубны, захлебнулись пронзительно-тонко переливчатые свистели. Ощетинились копья, замерли стрелы на дрожащей, до отказа натянутой тетиве, сулицы¹, занесенные для броска, нетерпеливо ждали своего полета.

— Вперед, за честь новгородску!

— Вперед, храбры!

Из-за леса выползла черно-сизая туча, подбитая золотом.

Начинался бой.

¹ Сульца — род копья.



И хотя тевтоны дрались отчаянно, преимущества оказались на стороне новгородцев...

...Ложно отступая, Мстислав втянул основные силы рыцарей в лес. И хотя тевтоны дрались отчаянно, преимущества оказались на стороне новгородцев — в своих легких доспехах они могли ловчее изворачиваться на узких просеках, быстрее передвигаться.

Тимофея с перевязанным плечом сидел в засаде правого «крыла», в ровчике, обросшем колючим чертополохом и липкой малиновой смолкой. Еще утром его дважды ранило стрелами, он потерял много крови, но не думал об этом. Возле Тимофея зябко ежился, несмотря на жару, Лаврентий. Он, казалось, хотел уйти в землю, не слышать свиста стрел, от которого все сжималось внутри, лязга щитов и мечей, конского топота.

На Лаврентия — кольчужная рубаха с короткими рукавами, прорезями спереди и сзади, бляхами-мишениями. Стоящий воротник кольчуги туго стянут тесьмой. Но и в этом облачении Лаврентий не выглядел воем.

Уткнувшись головой в молочай, от чего лицо его покрылось белыми каплями, Лаврентий смятенно молился: «Господи, пронеси беду... Убережусь — построю те храм великий, только пронеси... Ну какой я воин — сам видишь...»

Приближался конский топот. Лаврентий пугливо приподнял голову — вражья конница мчалась прямо на их засаду.

Ее подпустили совсем близко и встретили тучей стрел. Храпя, начали падать кони, сваливаться всадники, уцелевшие поворачивали коней назад. Один рыцарь, круглый, как бочка, в латах, не сумел повернуть коня, тот переметнул через кусты и, тяжело раненный, припал на колени. Всадник выпростал ноги из стремян и, увидев прижавшегося к земле Лаврентия, прыгнул на него, как коршун на кролика. Лаврентий пронзительно завизжал и потерял сознание.

В мгновение ока Тимофея подскочил к тевтону и со всего размаха опустил палицу на его голову. Тевтон покорно повалился на бок.

Тимофея, еще дрожа от возбуждения, с неприязнью поглядел на продолжавшего лежать ничком Лаврентия. Тот зашевелился, но голову оторвать от земли не решался. Рывком Тимофея приподнял его за шиворот, встряхнул так, что зазвенела кольчужная рубаха. Гневно глядя в раскисшее бабье лицо, прикрикнул:

— Лик-то людской не теряй! Слыши?

Из засады неожиданно выдвинулся новгородский полк; рубя и захватывая в плен, погнал перед собой рыцарей.

Среди них началась паника. Магистр, оставив на поле боя свой шатер, утеряв плащ, первым скрылся в крепости; вслед за ним прискакали фогты-командоры и орденские братья из капитула.

Далеко за полдень новгородские войска, штурмующие Отепя, взяли город на копье, ворвались в него через пролом. Мстислава видели в самых опасных местах: на стенах, в гуще городского боя. С топором в руках он врубался в неприятельские ряды, как в густой лес, прокладывая просеку. Шелом его был вдавлен, обрызган кровью, левая рука перевязана.

Кулотка у пролома городской стены показывал эсту, как метать камни порокой.

— Ты, друже, не торопись... Гляди, как надо... — говорил он. Кусок тряпки с запекшейся кровью багровел у него на лбу.

К вечеру бой закончился. Трепещущий на ветру княжеский стяг сбирали войско. Отряды похоронников рыли ямы для убитых, записывали их имена.

*Дрались храбры, не слыша ран, не имея
страха в сердце, и погибли:*

*щитник Нежила,
гвоздочник Яков,
котельник Иван,
кожевник Антон,
литец Микифор...*

Списки росли и росли...

Друдинники, тысяцкие и сотские делили захваченное добро.

Усталой походкой, едва держась на ногах, Кулотка прошел мимо пленных, лежавших на пустыре у городской стены. Тяжелораненые тевтоны стонали, просили пить, хрюпели предсмертно. Кулотка в раздумье остановился возле них, повернулся, пошел назад. Достав в обозе ведро, наполнил водой из колодца, понес раненым. Увидя недоуменный взгляд Лаврентия, сказал виновато:

— Лежачим.

Мстислав возле конюшен повстречал молодого новгородца. Тот, радостно сияя глазами, тащил за узду статного коня, отбитого у тевтона в городе.

Князь оценивающе оглядел добычу. Бросил через плечо друдинникам: «Мой се конь...» — и продолжал путь.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

С отворив выгодный мир с рыцарями, Мстислав объявил эстам, что отныне они будут жить по своей правде, и приказал войску собираться в обратный путь.

Глядя, как нагружают суда, захваченные у тевтонов, Мстислав радовался богатствам, что успел сам прихватить. Думал о том, как довольны будут новгородские купцы,— для них он снова расчистил путь.

На одной из ладей, под парусами, сидели Кулотка, Лаврентий и Тимофей. Лаврентий с завистью разглядывал золотую гриненку на груди Кулотки, полученную им за воинство. Сам князь сказал Кулотке: «Воин сей храбросерд и крепкорук»,— и нахмурился почему-то при этом.

Кулотка перехватил взгляд Лаврентия и презрительно покривился — не любил нездовское отродье. Еще в Новгороде всячески высказывал ему свою неприязнь: будто нечаянно наступал на ногу, при встречах так стискивал руку, что Лаврентий корчился от боли, называл его рожлей и скудобородым. А то замахивался, делая вид, что хочет ударить Лаврентия, сам же медленно подносил руку к своей ноздре, очищая нос, брезгливо разрешал: «Живи, живи, пужливый, не трону...»

Сейчас, сидя на ладье, Кулотка вдруг потянул воздух расплющенным носом:

— А чтой-то вроде бы смердит?

Лаврентий тоже доверчиво понюхал:

— Нечу.

— Ты, телолюбец, поди, не выстирал порты после прыгну того? — спросил Кулотка и захохотал.— Э-эх, вошь в сметане!

Тимофею и раньше не нравились издевки Кулотки, а сейчас, взглянув на несчастного, сгорбившегося от унижения Лаврентия, заметив, как порозовела мочка его большого, когда-то надкусанного собакой уха, Тимофей вскочил так, что ладью качнуло, и, подойдя со сжатыми кулаками к насмешнику, произнес, задыхаясь:

— Не смей поносить... Друг он мне...

Родимое пятно на левой щеке его побледнело.

Кулотка в первое мгновение даже опешил, потом удивленно подумал: «Вот сморчок! Костьми стучит, пупок к хребтине прилип, а туда ж, распыхался! Да я тя пальцем ткну — рассыплешься». Однако что-то в глазах Тимофея,

во всем облике его было такое, что не разрешило Кулотке грубить, вызвало еще большее уважение к Тимофею, и он примирительно сказал, улыбнувшись:

— Ты со мной помягче, я на голову слабый.

Но Лаврентия после того не трогал.

Тимофеей же во все время пути до Новгорода старался как только мог дружелюбнее относиться к Лаврентию, даже подарил ему поясной нож с черенком в серебре — единственное, что досталось ему в бою при Отепя.

Суда приближались к Новгороду. Еще с Ильменя, окруженного золотистым прибрежным песком, все увидели купола Георгиевского собора. А когда подплыли ближе к городу, он распахнулся во всей своей красе: с Детинцем, обнесенным каменной стеной, с башнями-кострами у въездов, с кустами церквей на Дворище, Торгу и Опоке, с валом, огибающим город, с посадами и слободами, подступающими к широкому кольцу монастырей. Прямо от «концов», от въездных ворот, уходили в неоглядную даль — на Водь и Карелу, на Задвинье и Заволочье, на Печору и Пермь — дремучие леса новгородских владений.

Было тихо. Низко летали чайки. Темно-синяя с золотой гривой туча плыла по небу, отражаясь в Волхове, цепляясь крылом за высокую арку радуги. Тимофеей стоял в ладье в полный рост. Удивительно часто менял свой облик Волхов! То становился неприветливым, сурово-свинцовым, когда надвигались тучи, то зеленовато-розовым и нежным. Или вдруг серебрился щедро и весело, когда улыбалось ему солнце, и тогда на душе светлело и хотелось петь о жизни, что так многолика. «Где найти краски, чтобы написать сие?» — думал Тимофеей. Он жадно глядел на родной город, силясь угадать в этом сплетении улиц и садов домик Ольги, с деревянным коньком на тесовой крыше, с голенастой березой у ворот.

На ладьях забили в литавры и бубны, заиграли сурны.

Город встречал на мосту причалов, где вои сходили с судов.

— Слава храбрам! Слава! — неслись со всех сторон крики. Летели вверх шапки, играли дудки-кувички, звонили благовестники.

Архиепископ встречал на Пробойной улице крестами, чудотворными иконами и молебном. Мостовые, площадь

заполнили игумены, протопопы, дьяконы, иноки, певчие, пономари. Вышел весь священный собор, воеводы и посадники. Народ обнимал храбров, нес их на руках; голосили жены и матери погибших, неистовствовали колокола...

Крестный ход остановился с молитвой у образа богородицы, нарисованного на городских воротах. Курились кадильницы, склонялись серебряные опахала-рипицы, слышалось церковное пение, и весь этот шумный людской поток двинулся к храму премудрой Софии, что по-прежнему величаво возвышался молчаливыми стенами. Казалось, они впитали в себя все солнце, что скупо отвела природа и холодному Волхову, и суровым окрестностям города, и потому так щедро серебрились.

Вечером, после всенощной, во владычных палатах начался боярский пир — чествовали Мстислава. А на Рогатице, Нутной, Чудинцевой улицах расставили столы для храбров — город угощал ратников мирской бражкой.

Дома Тимофея ждало тяжкое горе: неделю назад был убит у моста неведомыми злодеями отец. Соседи говорили: «Нечисто это, не иначе, стал он кому-то поперек». Незадолго до гибели отец Тимофея схлестнулся на улице с Нездой, крикнул ему: «Без стыда лица не износишь!» Грозился вывести на свет лжу какую-то. Но об этом соседи Тимофею не рассказали. Зачем подозрением сердце ему ранить. Может быть, Незда тут и ни при чем.

Тимофей потерянно бродил по опустевшей избе, наполненной с детства знакомыми запахами дубленой кожи, воска, извести, в которой мокли шкуры,— отец делал ремни и переметные сумы. Об отце вспоминал как о человеке добром, справедливом. Правда, и вспыхивал он легко, как сухой тростник, но никогда не носил камня за пазухой и, выложив все, что думал, чем был недоволен, сразу успокаивался и уже виновато поглядывал, словно сетя: «Эх, опять не сдержанся».

В свободные часы любил отец вырезать из дерева фигурки людей, животных, целые сценки: то охоту на лося, то медведя, пляшущего в окружении медвежат. Тимофей завороженно сидел где-нибудь рядом, боясь шевельнуться, громко дышать, и, не отрываясь, глядел на это рождение чуда из простой деревяшки.

А сколько диковинных сказок, поверий знал отец! Бы-

вало, в зимнюю стужу привалится Тимофей к нему на лавке под полушубком и слушает тихий рокот отцовского голоса, а тот рассказывает: как построили Новгород, как прогнали князей на Рюриково городище, как друг отца, мастер Петрович, расписывал стены Спаса и, не боясь гнева князя Ярослава, сделал все по-своему.

«Что ж,— думал сейчас Тимофея, перебирая колодки,— лишнее продам, а сам наймусь подмастерьем к Есипу».

Сосед Есип тоже был кожевником, славился умением вырабатывать сафьян из козьей кожи, давно дружил с отцом Тимофея.

Во время этих размышлений Тимофея вошел бирюч, кратко сказал:

— Незда кличет.

Тимофея накинул легкий опашень, заломил изрядно порыжевшую от непогоды шапку, подумал, усмехнувшись: «В брюхе солома, а шапка с заломом», — и отправился к посаднику.

Шел широким, решительным шагом, немного отбрасывая назад и за спину правую руку, вскинув голову.

Вечерело. Между туч простирали розовые полыньи, пролегли чистые желтые разводья. Софийские купола затерялись в синеве, белые стены прочертили желтизна. Волхов был спокоен, и лишь временами легкий ветерок едва заметно рябил его ширь.

Но вот розовые полыньи растеклись по небу, и тогда в синеву реки вплелся розовый отблеск и софийские купола тенью легли на Волхов.

Снова Тимофея на своей Холопьей улице! В походе, стоило закрыть глаза, представляя царапины на ее частоколах, резные украшения на крышах, на повороте — дубок в молодой листве. Даже выбоину мостовой, выщербленное бревно, что пора сменить, знал и видел издали, как едва приметную морщинку на лице матери.

Холопья улица! Сколько ног пробежало по тебе, торопясь на вече, сколько раз выгорала ты дотла, чтобы снова и снова отстроиться! В каждой избе здесь своя судьбина, свое счастье и горе — больше горя, чем счастья...

То и дело Тимофею попадались знакомые. И каждый из них, сейчас встречая его, отмечал невольно, что стал Тимофеем после походов много взрослея: по-новому, пытливо смотрели темно-серые глаза, яснее прежнего проступали скулы.

— Здоров, Тимоха! — догоняя, хлопнул его по плечу высокий горбоносый гончар Василь.— С возвращением!

— Спасибо, дядя Василь.

— Вроде бы подрос ты еще, Тимоша! — ласково говорил ему минутой позже дед Антон, оттягивая книзу зеленоватый ус.

И по глазам деда, вылинявшим от времени, видел Тимофей, что знает тот о гибели отца и жалеет его, Тимофея.

Тимофею приятно было чувствовать эту приветливость города, чувствовать, что не безразличен он новгородцам. Он то и дело стягивал шапку с головы, отвечая всем встречным.

«Зачем я понадобился Незде?» — недоумевал Тимофей. Он много слышал о начитанности, уме посадника, о знании им языков и питал к Незде восторженное уважение, схожее с тайным преклонением перед этим красивым, таким свободным в обращении вельможей. Но сейчас, идя к нему, Тимофей решил ничем не показать свое отношение, чтобы не подумал тот, будто заискивает, держать себя с достоинством, подобающим победителю при Отепя.

Тимофей решил даже особенно не спешить — забрался возле Кончанского ручья на земляной вал поглядеть на любимый город. По верху широкого вала шли бревенчатые оплоты, а внизу пролегал глубокий ров с водой и врытыми в землю надолбами. За рвом открывалась зеленая равнина, изрезанная речушками Легошней, Трясовцом и Жилотугом.

На заливных лугах, топких пустоشاх, меж озерков и заводей щедро разбросаны желтые ковры погремка, островки белой ядовитой чемерицы, огненный цветок «боярской спеси».

Серые скворцы веселыми ватагами облепляли дрожащие ивки, налетали на дремучие заросли бузины, перекликались тонкими голосами, словно вели подсчет своих стай перед сном.

Город отсюда казался еще больше. Жались поближе к воде кожемяки, теснились к оврагам гончары, кузнецы у въездных ворот перехватывали коней для ковки. Вверх от причала грузно поднимался бесконечный обоз, объезжал разбросанные на земле желоба — выдолбленные из стволов трубы для сточных вод, кучи камня, извести и кирпича.

Но, пожалуй, пора идти, а то вовсе стемнеет. И Тимофей отправился на Лубянную улицу, к дому посадника.

...Дом Незды стоял близ Торга, был украшен резными оконными наличниками, фигурами чудовищ, обнесен дубовым забором, из-за которого виднелись в дальнем конце двора службы для челяди, изба семейных холопов, поварня, конюшня и погреба.

Во дворе рвался с цепи взлохмаченный пес, взвиваясь, давился от хриплого лая.

Незда в подбитой соболем атласной телогрейке, наброшенной на расшитую золотом шелковую рубашку, в красных тафтяных штанах и лазоревых сапогах персидского сафьяна с единорогами, вышитыми на голеницах, сидел возле столика со сдвинутыми шахматными фигурами и сосредоточенно подтачивал длинные ногти пилкой, похожей на петушиный гребень.

Об этом Лаврушкином друге, что придет сейчас, посадник слышал уже не однажды: говорят, прибаутки составлял такие, что облетали город. Сочинил: «Дали голодной Меланье оладьи, а она бурчит — испечены неладно».

Незда весело рассмеялся:

— Ловко придумал! Такого стоит приручить.

При входе Тимофея в хоромы боярин не поднял головы, и Тимофею видны были только волосы его, обильно смазанные пахучим маслом.

Тимофеей нахмурился.

— Пришел? — мягким, вкрадчивым голосом произнес посадник.

И от хмурости Тимофея не осталось и следа. Он доверчиво поглядел на Незду.

— Сын сказывал мне — спас ты его, да и от Мстислава слыхал тебе похвалы...

Тимофеей застенчиво покраснел:

— Я, как все...

— Вот и решил помочь... — Незда спрятал пилочку, ласково посмотрел на юношу: — Пойдем!

Он поднялся и легкой, быстрой походкой пошел впереди Тимофея, ввел его в большую клеть, почти доверху забитую рукописями и книгами. У юноши от волнения захватило дух. Одним взглядом успел он отметить богатства, собранные здесь.

На полках в беспорядке стояли и лежали сочинения Плинния и Геродота, жития святых, своды законов Рима, повесть о Василии Дионисе, поучения Мономаха, хроники и лечебники.



У Незды было единственное в Новгороде такое большое собственное книгохранилище, он тратил на него огромные деньги, гордился им и при случае с удовольствием показывал гостям.

Владыка, зная о книгохранилище, был недоволен тем, что оно принадлежит не собору, но разговор о передаче хотя бы самых ценных рукописей откладывал — Незда только что возвел на Лубянской улице каменную церковь.

...Стоя посреди клети, посадник тихо и проникновенно говорил застывшему Тимофею:

— Хочу привести сие в порядок... Ты, сказывали мне, грамотен и трудолюбив. Будешь книгохранильцем?

Тимофея прижал руку к бешено заколотившемуся сердцу:

— Не ведаю, как и благодарить...

Незда согнал возникшую было насмешливую улыбку, подумал: «Увы, лицемерие — дань, которую мы платим добродетели... Знал бы ты, как отец твой, крикун и оскорбитель, отдал Богу душу, умерил бы пыл... Это я ловко придумал: город одобрит, что пригрел сироту». А вслух сказал ласково:

— Не для благодарности делаю... Дал зарок себе: и в большом и в малом — бог и правда! — Он помолчал и закончил живо: — Значит, решили. Завтра и приступай!

Как всегда, Тимофея с новой вестью поспешил к Аврааму. С кем же поделиться радостью, как не со своим учителем, что прошел большую, нелегкую жизнь?

Авраам сам о себе говорил, что у него не однажды были «рога в торгу» и что жизнь без разбора «била его мордой о землю». И впрямь не щадила она его — пережил он и перевидел столько, что на десятерых хватило бы.

Сын молотобойца, ходил в юности Авраам с ватагой на край новгородской земли, но, кроме своих отмороженных ног, ничего оттуда не принес. Раненный в бою под Киевом, был подобран монахом, и, пока отлеживался — раны на груди заживали медленно,— обучал его монах грамоте, латыни и греческому. Позже занимался весельником¹ на ближних и дальних реках, работал камнетесом и подручным кузнеца. И где бы ни был, тянуло его к людям: понять, чем живут, как мыслят, чего ждут? А сколько чужого горя он подсмотрел — о том мог бы месяцы рассказывать!

Особенно любил Авраам мастеров-умельцев, чьи золотые руки создавали все на земле — от железной скобы до дворцов. Умельцы и обучили его тайнам кузнецного дела. Были в Новгороде кузнецы: замочники, секирники, гвоздочники, скобочники... Авраам же умел теперь делать не только секиры, гвозди, скобы, но и самые тонкие работы: косы, ножи с узорчатыми лезвиями, в часы отдыха, «для души», мастерил хитрые пружинные замки с медным рисунком.

Ему минуло двадцать пять, когда проклятущая судьба опять швырнула невесту куда: напали норманские пираты, захватили в плен. Проданный ими в рабство, Авраам работал в кандалах на итальянских галерах. Бежал, скитался у греков и немало еще исколесил чужих земель, узнал чужие языки и обычай, прежде чем удалось ему добраться до родных пределов. Вскоре по возвращении он женился на дочери новгородского плотника Пантелея Пасынкова. Жена через год умерла, оставив ему двойню.

Своими силами поднял он сыновей, но несколько лет назад они погибли в бою с крестоносцами. А тут еще Незда ограбил Авраама: дал ему взаймы под огромный процент и позже за бесценок скупил его товары. Но ничто не сломило Авраама: он оставался веселым, общительным, умел выпить с друзьями на пирушке-братчине, отдать последнее артели.

Тимофея он полюбил, прирос к нему душой и не удивился, когда тот пришел рассказать о Нездиных заботах. Но отнесся к ним неодобрительно:

— Напрасно лезешь в пасть к сему дьяволу с елейной улыбкой... Милость его и лыка не стоит.

— Мыслю, язычат на него,— стал защищать Тимофея Незду.— Как сына, он меня обласкал.

¹ Весельник — гребец.

— «Обласкал!» — будто от боли, закричал Авраам.— В сердце вьется, а в кошель, коварник, лезет! Спрятал душу свою грязную в темный угол! Неужто не понимаешь, несмысленик, что Незды оголили, изнищили нас, набивают зоб свой, корму не разбирая, сытости не ведая! Для кого хребет ломим? Для кого?!

Видно, давно наболело у Авраама, что так взволновался. Но усмирил себя и уже раздумчиво сказал:

— Что ж, может, и станет польза тебе... Только чаще оглядайся... Это люд такой — против бога идут, да у него же и помогу просят...

Подумал:

«Не лучше ль Тимохе дольше телком оставаться, вместо черных туч розово небо зрить? — И решил: — Нет, надо ему глаза открыть. Хоть и не для меча он, не для поля браны растет, а есть в нем великость души, не отступится от своего».

Они заговорили о борьбе с суздальцами, об их сторонниках и противниках в Новгороде. Бояре и крупные купцы, опасаясь ущемления своих вольностей, видели в суздалинских ставленниках врагов.

Авраам и его други надеялись, что суздальский князь улучшит их жизнь, и поддерживали его.

Тимофей горячо возражал:

— Доколе суздальцы будут чинить происки свои мерзкие? Доколе подлый насильник Всеволод будет измываться над нами? Обозы перехватывает! Людей наших лучших во Владимире держит! Честного Олексу убил ни за что!

Авраам, выслушав, спокойно возразил:

— В драке и не обозы перехватишь. Лучших людей держит? А чем они тебе-то лучшие? За что Олексу убили, нам еще не ведомо. Только знаю: с Нездой Олекса в одну дуду играл. И помяни мое слово... — он стал говорить резко, непримиримо,— Незда рад бы нас с потрохами продать... землю новгородскую расшвырять... лишь бы ему от того выгода была!

Тимофей даже отшатнулся:

— Черно вы, дядя Авраам, все зрите! Кто же враг своей земле?

Авраам покачал головой, горько усмехнулся:

— Э-эх, сынок, рассуждаешь ты, как чадо малое! Аль не слыхал, что козла надобно бояться спереди, коня сзади, а боярина со всех сторон? Разве по своей воле они на ве-

шапку скидают? Дрожат за шкуру... А нас подстрекают... Я так мыслю,— только ты не шарахайся от слов моих, не разобравшись,— хотя нам от Всеволода тоже не ждать белых калачей, а все ж он за съединение Руси, за силу ее, за то, чтобы княжеские драки да боярское свое воле кончились. А Незды лишь за свою мошну держатся. Ну, да недолго им кровь пить! — Авраам посмотрел на ошеломленного Тимофея долгим внимательным взглядом, закончил тихо, убежденно: — В народе, как в туче: в грозу все наружу выйдет!

ДРУЖБА С КУЛОТКОЙ

С отрочества любил Тимофеем забравшись в лесную чащу, слушать переклик птиц, шум деревьев или, лежа на поляне, глядеть, как в поднебесье спешат друг за дружкой тучи-странницы, будто знают край, где живется лучше, и боятся не поспеть туда.

А сейчас все это заменил Тимофею мир книг и рукописей. Он вошел в самую гущу его, и обступили Тимофея герои, чужие жизни, и уже не листья деревьев шелестели, а звучали человеческие голоса, и не тучи проносились над ним, а столетия, и открывались новые, невиданные просторы, и не было им конца, не было предела восхождению.

Получив от Авраама первоначальные знания греческого и латинского языков, Тимофеем сам довольно быстро научился читать на этих языках, разговаривал на них со знакомыми писцами из мастерской владыки и теперь дни напролет просиживал над мрачной «Хроникой» византийского монаха Георгия Амартола, вновь переживал вместе с Иосифом Флавием историю разорения Иерусалима, восхищался подвигами Александра Македонского...

Его взволновали слова: «Ум без книг, аки птица спешена. Яко ж она взлетети не может, такожде и ум не домыслится совершенна разума без книг».

Он надолго задумался, прочитав в Шестодневе Иоанна:

«В растениях найдешь признаки, похожие на человеческую юность и старость: одни деревья, будучи срезаны, прозябают, а срубленные и обожженные сосны превращались, заметим, в дубы...»

Что хотел внушить этой мыслью Иоанн?

Способность человека к стойкости? Ведь в сказочном

вымысле Шестоднева о птице-фениксе, возрождающейся из огня, о льве, что дунув мертворожденному львенку в ноздри, дает ему жизнь, есть и мудрость.

Во всем этом надо разобраться, отобрать золотые зерна, и тогда засияют чудесные открытия, такие, как слова Иоанна: «В некоторых деревьях естественный порок исправляется заботами садовника...»

Бежали недели и месяцы, и с каждой прочитанной книгой Тимофей словно бы взросел, становился сильнее, поднимался на какую-то новую ступеньку, с которой яснее было видно и дальнее и ближнее.

Он редко бывал в городе и лишь однажды встретил на улице Ольгу.

Она потупилась, спросила:

— Что ж не приходишь? Отец спрашивал...

Тимофей пробормотал что-то несвязное: не мог же признаться, что боялся ее, боялся чувства своего, хотел приглушить его временем и разлукой, да плохо ему это удавалось.

И Ольга не сказала ему, как совсем недавно шла по взгорью позади двух щитников, и один другому говорил с гордостью: «Тимошка-то наш, с Холопьей улицы, многим разумом украшен». И другой ответил: «Новгородец!»

Она вспыхнула, будто это ее похвалили, подумала: «Любят его в городе, хоть и млад».

...Свободные часы проводил Тимофей чаще всего с Кулоткой, и они очень сдружились.

Правда, у Кулотки была еще своя уличная ватага, верные дружки Васька Черт, Игнат Лихой, Потап Баран, близнецы Прокша и Павша, у которых лица одинаково обрызганы веснушками,— сказывали: потому, что разорили они когда-то ласточкино гнездо.

Но больше, чем ко всем, привязался Кулотка к Тимофею, ходил за ним добровольным охранителем, любил слушать его рассказы и в такие часы становился покорным и тихим.

При всей бесшабашности Кулотки душа у него была незлобивая, открытая. Охотник пображничать, выпить стоялого меда, покуролесить, Кулотка умел, как никто другой, проявить широту новгородской натуры, умел не только ломать ребра, но и самоотверженно защищать квелых.

Была у Кулотки одна смешная слабость: невзирая на бедность свою, щеголял кушаками. Каких у него их только

не набралось! Белые и червчатые¹, вишневые и сизые, дымчатые и слиновые... Надевая новый кушак, он говорил иной раз, усмехаясь:

— Рожей подгулял, так кушаком возьму...

Кулотка охотно принимал участие в воинских играх, когда метали копье в круг на земле, стреляли из лука в войлочные цели, скакали верхом на коне. Но особенно любил он «игрушки» — кулачные бои на масленицу. В драках этих «сам на сам» и «один на стену» был Кулотка непобедим, лучше всех умел давать подрыльник, сваливающий с ног. Лишь однажды кто-то расплющил ему нос, заложив железную бабку в рукавицу. После этого случая он навсегда остался широконосым и, посмеиваясь, говорил:

— Боле мне никакой кулак не страшен — нанюхался...

Тимофе́й, выйдя со двора Незды, зашагал Славной улицей к берегу. Плыли по реке багряные листья, оделась в желто-лазоревый убор иван-да-марья, суматошились белощекие, в черных шапочках, лесные гаички, из осиновых зарослей доносился издали приглушенный рев лосей.

Высокое новгородское небо, как и Волхов, непрестанно меняло свой лик — то проплывали в нем легкие облака в ласковых завитках, то беспощадной стеной вырастали зловещие, черные тучи. Сейчас оно было задумчиво-спокойно, и в его сероватой голубизне беспечно плескались стрижи. По реке впереди ладью белой цепочкой плыли утицы; казалось, вели за собой ладью против течения.

У пристани, протянувшейся бесчисленными причалами, стояли, набирая силы, корабли: готовились отплыть в Готланд и Любек, и ветерок лениво полоскал серые утомленно приспущенные ветрила. Возвышались высокими бортами насады, груженные новгородскими щитами и кольчугами; гнали по реке связки плотов с кусками олова и меди.

Кричала птица, ревел скот, пахло смолой и речной водой.

От обилия товаров — меда и воска черемисских лесов, тюленьего сала с Белого моря, арабских и персидских шелков, гречих орехов,— от мелькания рысих и волчьих колпаков, разноцветных повязок, тюрбанов, суконных шапок — пестрило в глазах.

¹ Чे́рвча́тые — красные.

Слышалась речь купцов из Андалузии и Румии¹, Александрии и Венеции. Казалось, со всего света пожаловали гости в Великий Новгород!

На песчаном отлогом берегу, меж разбросанных сетей, вёсел, чанов с водой, наполненных живой рыбой, лежали оборванные лодочники и весельные наймиты.

Голые новгородские мальчишки руками ловили прозрачных снетков, выбегая из воды, кувыркались на песке. Грузчики, пригибаясь под тяжестью тюков с красным сукном, таскали их по сходням к подводам, скатывали на берег бочки с засоленным наливом.

За пристанью, ближе к Плотницкому концу, учёники строили плоскодонные суда.

Тимофей был еще весь во власти радости, пережитой от увиденных в «Изборнике» рисунков.

«Вот бы,— думал он,— заглавными буквами сказку передать... «М» нарисовать, вроде бы два молодца в кафтанах рыбу сетями ловят; «К» — воином с копьем и щитом...»

Тяжелая рука осторожно легла на плечо Тимофея. Он очнулся. Перед ним стоял, широко улыбаясь, Кулотка. На нем красная холщовая рубаха, низко перехваченная дымчатым кушаком, старательно заплатанные порты вправлены в сапоги.

— Эк, наука тя куда мотанула! — добродушно произнес Кулотка, ласково глядя на друга.— Пошли ко мне, посидим! — И, тряхнув плечами, добавил с сожалением: — Хорош день, да некого бить!

— Тебе б только бить! Когда остынешься? — пожурил Тимофей.

— Когда плешиевые перекудрявятся! — захохотал Кулотка.

Они стали пробираться по Торгу. Со стороны Волхова доносился задорный перестук топоров — то артель плотников чинила старый Великий мост в пятьсот шагов длины.

Теснились друг к другу лавки суконного, мыльного, пушного, серебряного рядов. Торг шумел разноголосо.

— Ягодка-ключва! Ягодка крупна! Девки сбирали, с кочки на кочку скакали! — надрывалась бойкая женка с корзиной в руках.

— Постричь, поголить, ус поправить, молодцом поставить! — весело зазывал к себе круглый усатый новгородец, звеня ножницами.

¹ Румия — Рим.

— Эй, дружки, нагревай брюшки, по-дой-ди! — нараспев выкрикал возле кружала продавец стоялого меда, сладко жмуря сытые глазки.

В конце Великого ряда, там, где он упирался в мост через Волхов, сидел на земле писец в рваной рубахе, на кусках бересты писал грамоты кому надобно.

Откуда-то со стороны лотков хлебников, что здесь же, на берегу, разложили на столах пироги с сигом и сырьем, доносились звуки медного рога, бубен и громкое пение.

Человек двадцать скоморохов-потешников, окруженных толпой хохочущих зевак, шли в широком, медленно передвигавшемся вместе с ними кругу вдоль берега к городу.

Один из скоморохов тащил на голове доску с дерущимися куклами. Другой, маленький, щуплый, с носом, о каком рекут, что он «не тем концом пришит», вез на себе здоровенного детину и кричал козлом. Третий, в кожаной маске, дул в рог, плясал и показывал выучку собаки: она кувыркалась через голову.

Щупленьевский скоморох, сбросив с себя верзулу так, что тот покатился по земле, стал ловко играть на деревянных ложках, припевая:

У меня все богатство —
Кошка дойная,
Да оvin киселя
Крыт сосновой корой...
Всем повинку даю:
По кунице — посадничку,
По лисице — тысяцкому,
А бирючу бедному
Белу горностаечку!

Народ, довольный представлением, бросал монеты, плясал, вместе со скоморохами двигался к городу.

Но яснее всего в шуме новгородского Торга прступал голос железа — самый сильный голос города.

Тимофей прислушался к нему: железо гирями падало на весы, пело пружинами хитрых замков, откликалось подковным цокотом, глухо ворчало в грудах кольчуг и шеломов, скрежетало напильниками и зубилами, нежно звенело и рокотало, как весенний гром.

Ух, силен, славен Господин Великий Новгород!

Они проходили посередине Торга, и Кулотка мимоходом успевал дать кому-то подножку, выпить, не платя, жбан браги, задрать кафтан молодому боярину. Шел, лихо сдви-

нув шапку на ухо, развернув плечи, озорно поблескивая глазами, то и дело смаочно сплевывая.

— Побережись, квашня, не то черепок до мозгу пробью! — зычно предупреждал он, сбивая колпак с зазевавшегося толстяка, и тут же советовал ему через плечо: — Плешь зачеши! Загляделся, как гусь на зарево!

Возле ряда с пирогами молодая полная женка с таким маленьkim подбородком и лбом, что лицо казалось приплюснутым, бросила сердито вдогонку Кулотке:

— Шатается, непутевой!

Кулотка замедлил шаг, лениво повернулся назад, остановившись напротив женки, стал разглядывать ее с удивлением, словно забавную козявку.

Потом, кивнув в ее сторону, сказал Тимофею с наигранным восхищением:

— Красава! В окно глянет — конь прянется, на двор выйдет — собаки три дня брешут.



Женка, свирепо сверкнув глазами, уперлась кулаками в пышные бока, приготовилась принять бой, но Тимофей решительно потащил друга за рукав.

— Ну к чему те, задирщику, глумление такое? — говорил он, когда воинственная женка уже осталась позади.— Пото срамословиши?

— Скучно! — с каким-то необычным надрывом вдруг признался Кулотка и остановился: — Душа мятется!

Тимофей внимательно посмотрел на друга. Скрывая лукавую улыбку, сказал:

— Вспамятовал я: в Чевском государстве, близ града Праги, один злоклянущийся, любитель срамные слова кидать, обращен судом божьим во пса черного, мохнатого... лишь голова человечья осталась.

Кулотка усмехнулся, почесал кудлатый затылок:

— Схоже — и голова у меня собачья станет!..

Они подходили к Кулоткиной избе, стоявшей в конце



Рогатицы — извилистой улицы над неглубоким обрывом. Тимофей рад был, что отвлек друга от мрачных мыслей, хотел сказать что-нибудь утешительное, душевное, но, не найдя нужных слов, вдруг предложил, легонько толкнув Кулотку в бок:

— Давай, кто кого перетянет?

Кулотка ухмыльнулся:

— Спробуй!

Они стали боком, сцепившись правыми руками сились стянуть один другого с места.

Кулотка пыхтел. Оказывается, этого Тимошку Тонкие Ножки не так-то легко сдвинуть. Тимофей увертывался, делал обманные движения и наконец неожиданно резким выпадом сдвинул Кулотку, а сам остался на месте.

— Удалось картавому крякнуть! — недовольно пробурчал Кулотка.

Тимофей рассмеялся, шлепнул друга по спине:

— Это тебе не кулаком ширыть! — и прокукарекал победно кочетом, вытягивая тонкую крепкую шею.

Полчасом позже они сидели на высоком крыльце избы. Из-за покосившегося забора выглядывали темные, покрытые омшавелыми жердями крыши соседских изб, словно спускавшихся по склону к реке. Возле забора стояла бочка с водой, на случай пожара.

— Скучно! — опять сказал Кулотка, с ненавистью поглядев и на эту бочку, и на забор, и на рябую курицу, проковылявшую с перебитой лапой. — Нет простора мне... Тянет в дальние страны.

Не однажды в последнее время мерещились ему опасные края, богатые бобром и куницей, нехоженые охотничьи тропы. Во снах видел, как пробирается с ватагой ушкуйников¹ за Онегу, минуя мшистые болота и ледяные озера. Ждали его в полуночной стране у Моря Сумрака² соболя и горностаи. Только добраться до них — и привезет домой богатую добычу и женится на крохотке своей Настасье, освободится от вечно полуголодной жизни.

А тут стал Незда собирать дружину ушкуйников — идти на Югру³: выкатил на улицу возле своего дома бочки с брагой, начал в долг продавать шеломы и мечи, снарядил ладьи. «Привезете меха,— говорил он,— долг вернете, за

¹ Ушкуйники — участники похода на лодках-ушкуях.

² Море Сумрака — Ледовитый океан.

³ Югра — северо-восточные владения Новгорода.

подмогу каждую третью шкуру мне отдадите, остальное куплю, не скучась».

Кулотка с помощью Авраама сделал себе меч, набил зипун железками, продал нагрудную гравенку и на вырученные деньги купил лук со стрелами. Отец подарил Кулотке свой деревянный, окованный железом щит, хранивший метины еще половецких стрел. Мать поплакала было, да потом смирилась — все едино не удержишь. Надев на себя доспехи, Кулотка предстал перед Нездой. Тот оглядел его прищуренными глазами, усмехнулся:

— Слыхал, битливый¹ ты! Нам такие молодцы надобны! — Про себя подумал: «Уедут — в городе спокойней станет».

Сейчас, рассказав другу обо всех приготовлениях, Кулотка нетерпеливо ждал, что ответит тот, и виновато добавил:

— Застоялся я... Размяться бы, силу спробовать.

Тимофей добро посмотрел на друга. Лицо его было обветренно, загорело, и только у верхней губы, в самом уголке, белело пятнышко — можно было подумать: прилип в этом месте листок и солнце не проникло через него. И полные губы, и это пятнышко придавали его лицу выражение детской наивности, которое никак не вязалось с богатырской фигурой.

— Только не лезь на рожон,— попросил Тимофей и неожиданно мечтательно добавил: — Вот бы и тех людей, дальних, грамоте обучить!

— Да тебе-то от этого что? — удивился Кулотка.

— Ты не обижайся.— Тимофей одной рукой притянул его к себе.— Мыслю: неграмотный, что незрячий,—глядит, а не видит...

Догорал вечер; казалось, красное небо нещадно сек синий ливень. В чуть подернутом рябью синевато-розовом Волхове спокойно отражались стены Детинца, купола собора...

«Тиха вода, да от нее потоп живет», — вспомнил Тимофей слова Авраама, что произнес тот недавно с угрозой в голосе, видя, как по улице боярские стражники вели должников. Тимофей еще подумал тогда: «Какой потоп?» — но вопроса задавать не стал.

А сейчас вдруг понял, о чем говорил учитель, и сердце тревожно сжалось.

¹ Б и т л и в ы й — драчливый.

В МИРЕ КНИГ И РУКОПИСЕЙ

Перелистывая рукописи нездинской библиотеки, Тимофей подолгу задерживался на тех из них, что были изукрашены причудливым плетением фигурок зверей и птиц... Звери стояли на задних лапах, лизали свои спины, птицы шествовали, воинственно распустив хвосты. Писец Митька, рисовавший когда-то их, видно, до того сам залюбовался своей заставкой, что не выдержал и сбоку приписал: «А люба заставица!» Тимофей скупо улыбнулся этой похвалбе мастера: и впрямь люба!

Но особенную радость принесла ему книга в драгоценном окладе с эмальями.

Уже несколько часов сидел Тимофей над ней, и сердце его замирало от светлой зависти: «Ведь вот сумели сотворить такую красу... Эх, мне бы подобное свершить, и тогда знал бы — недаром жил, принес людям радость, какую сейчас испытываю сам... Да, есть на свете вечная, как небо, как звезды, как земля, пробуждающая весной краса. И смотрит ли на нее богач Незда или бедняк Кулотка, все едино заставляет она сильнее биться сердце. Вот и надо множить эту вечную, как былины, красу...»

В соседней гридне прохаживался по деревянному настилу Незда в желтой поддевке с ожерельем, холил ногти, любовно оглядывал перстни, нанизанные на тонкие пальцы.

Камни играли, переливались чудным светом, и трудно было отвести от них глаза. На изумруде вырезан всадник на коне; в черной финифти плавал яхонт червчат, а на нем — пес борзой; в середине другого — гиацинта — человек льву пасть раздирает. Епифаний Кипрский писал о сем камне: «Гасит огонь и помогает женщинам при родах». «Бред! Кровь и пот в себя вобрали, в том и цена их!» Незда снова любовно поглядел на камни, подошел к двери, заглянул в клеть.

Тимофей, сгорбившись, сидел над пергаментом.

«Его не корми, только рукописи дай...» — довольно усмехнулся Незда. Что греха таить, любил умных людей, слабость питал к ним.

«Откуда жадность такая до знаний у сына сапожника? — продолжал размышлять посадник.— Не то что мой умоокраденный. Из Тимофея толк немалый выйдет... Давал ему переделывать грамоты — пишет кратко и по-своему. Ты, Незда, неплохо разбираешься в людях. Из этого кни-

голюба можно извлечь пользу». Его заняла новая мысль: «А почему бы Тимофею не составить жизнеописание посадника Незды? Ну, может, не сейчас, а со временем, когда умения наберется».

Он даже улыбнулся этой неожиданной мысли — так она ему понравилась. «А впрямь! Власть моя равна власти римского консула либо итальянского князя; если у них это водилось, почему бы не быть у нас? Посадник Великого Новгорода! Града, где еще при Ярославе находили пристанище лишенные престола король норвегов Олаф, чады сакского короля Эдмунда Железный Бок, угрский принц Андрей с братом своим Левентою... А пока,— он насмешливо прищурился,— новоявленного Плутарха надо приручать и подкармливать...»

«Как постичь тайну красок?» — думал Тимофей, рассматривая заставки и концовки.

Заглавные буквы нарисованы были киноварью, желтой и черной красками. Поднимали клювастые головы грифоны, звали в сказочную даль полутицы-полульвы, загадочные крылатые серны и кентавры.

И вдруг родилась мысль: «Сделаю подарок Ольге — нарисую для нее свою заставку и отнесу».

Его даже в жар бросило. Захотелось сейчас же, немедля приступить к делу, но в слюдяное оконце уже заглядывали сумерки. Надо было достать краски, и он решил, что подарок начнет готовить завтра.

Ночь он спал беспокойно. Все представлял, как необычно нарисует, как обрадуется подарку Ольга, благодарно поглядит на него, Тимофея.

Об Ольге думал с каждым днем все больше. Что с того, что не видел ее! От этого она была еще желанней. Он вел с ней долгие разговоры, он советовался с ней, придумывал ласковые имена и не мог бы теперь представить свою жизнь без нее, без этого ощущения, что она где-то рядом, за несколькими поворотами улиц, ходит по тем же мостовым, что и он, дышит одним воздухом с ним.

Среди многих иных талантов есть, верно, и талант любить. Любить нежно, преданно, глубоко и красиво. Любить, не выдавливая из себя чувство, не загрязняя его, а так, как светит солнце, как бьется сердце. И талант этот вовсе не в умении произносить красивые слова, а в цело-

мудренном, внешне, может быть, даже скромом проявлении чувства, безграничной преданности ему.

Тимофея после возвращения из похода был у Мячиных. Отец Ольги теперь отнесся к нему совсем по-иному: спрашивал о походе, о службе у Незды и поглядывал на Тимофея задумчиво, будто примеряясь и боясь в чем-то ошибиться.

Два месяца рисовал Тимофея заставку, вкладывая в работу всю свою любовь к Ольге, весь пыл горячей, доверчивой души. Он придумал ввести в плетенку букв девичьи лики — такого нигде не видел — и придал им Ольгину выражение. Он, как великого праздника, ждал вечера, когда отнесет ей свой дар, и этот вечер наконец наступил.

Тимофея застал сестер Мячиных в большой клети за игрой в «первенчик».

Они, все пятеро, сидели на полу, в кружок. Каждая положила на колено старшей сестре Машке по два пальца. Машка, о которой соседские парни говорили, что у нее «один глаз на лицу, а другой в солоницу», частила скороговоркой:

— Первенчики, друженчики, тряпцы, влынцы, поповы ладынцы, цыкень, выкень!

Произнося каждое из этих слов, Машка указывала то на один, то на другой из протянутых пальцев, и если со словом «выкень» палец не успевали спрятать, то начинала скороговорку зазевавшаяся.

Игра им, видно, изрядно уже прискутила, и, когда на пороге появился Тимофея, сестры обрадовались возможности потормошить застенчивого гостя. Они вскочили с пола — были сестры все, кроме Ольги, на один лик: безбрювы да тощи,— окружили Тимофея:

— Вот ладно, что пришел!

— Будешь с нами в слепого козла?

Отец Мячиных, до сей поры молчаливо что-то тесавший в углу, недовольно прикрикнул:

— Ну что напали?!

Но Ольга уже тащила кусок холста, завязывала им глаза Тимофею, выпроваживала его за дверь.

И как Тимофею ни тошно было сейчас играть в этого слепого козла, он покорно подчинился и застучал в дверь.

— Кто здесь? — спросила Машка, приставив палец к сухоньким, тонким губам и строго озираясь на сестер.

— Слепой козел, — послышалось из-за двери.

Не ходи к нам ногой!
Поди в кут,
Где холсты ткут,
Там тебе холстик дадут! —

отвечала Машка.

Тимофея, как того требовала игра, недовольно забил ногой о дверь, вошел. Машка изо всей силы хлопнула его по спине, и девицы кинулись врассыпную, чтобы он их искал.

Но Тимофея сегодня скучно играл: так неохотно передвигался, так плохо старался поймать кого-нибудь, что сестры, обидевшись, стянули с его глаз повязку и не стали задерживать, когда он, шепнув Ольге: «Я те что-то поведаю», — пошел с ней в соседнюю клеть.

Там Ольга села на сундук, щелкая лесные орешки, выжидательно поглядывала на Тимофея. Уж больно таинственным был его вид.

Чувствуя какую-то неловкость и желая прогнать ее, Ольга шаловливо предложила:

— А ну, реки часто: клюй крупки около ступки, клюй крупки около ступки!

Но Тимофея словно бы и не слышал ее. Он с трудом разжал сразу пересохшие губы, тихо произнес:

— Я те подарок принес...

Ольга вынула орешек изо рта, подняла на Тимофея лукистые, голубые глаза, придинулась ближе.

— Вот придумал! — сказала она с любопытством и нетерпением.

— Сам сделал! — Он осторожно достал из-за пазухи пергаментный лист и, трепеща, протянул его Ольге.

Ольга приняла странный подарок из рук Тимофея, и тень разочарования пробежала по ее красивому лицу. «Вот всегда он такой, не как все... Надумал, что дарить... Лучше бы какие ни на есть серёжки принес!» Она мельком взглянула на яркий лоскуток, снова свернула его и, небрежно сунув за божницу, защелкала орешками.



«Ничего,— успокаивал себя Тимофеи,— позже разглядит».

Он пробыл у Мячиных недолго, а когда ушел, унося непонятную тяжесть на сердце, Ольга, надувшись, села к окну.

«Когда любят, разве ж такие подарки делают? — думала она сердито.— Вон Кулотка подойдет к саду Настьки, засвистит в три пальца, аж в ушах звон,— и бежит она к нему стремглав... А он из-за пазухи достанет безделицу... так, ни за что, от щедрости... А сейчас уехал с ушкуйниками в Югру. Теперь иль с соболями жди, иль голову сложит. Неужто Настька ждать его станет? — Ольга сморщила высокий белоснежный лоб, ожесточенно решила: — Будет ждать, дура!»

Ей вдруг стало тоскливо, жаль себя.

«Где судьба моя бродит? — пригорюнившись, думала она.— Нездин Лаврентий вяжется. Уродина, да зато богат... Вышла б за него — девки от зависти лопнули!»

Она снова возвратилась мыслью к Тимофею. К нему относились и насмешливо — тощий да некрасивый какой,— и с невольным уважением, даже чувствовала страх перед его необычностью.

«Чудно! Картиночку принес... Ну к чему она? — Покосилась на уголок пергамента, выглядывающий из-за божницы. Но встать не захотела.— И глядит своими глазищами с синими кругами... Сестры смеются, спрашивают: «Тебе с ним не страшно, когда одни остаетесь? Строгий он у тебя». Да уж не из веселых».

Она вздохнула и пошла к сестрам.

СВАДЬБА

Праздновали новое лето. После молебна в Софийском соборе владыка обтер мокрой губкой икону, омыл руки и погрузил в воду крест. Запели тропарь¹, и крестный ход двинулся от собора по улице.

В поднебесье мчались взбитые облака. Отрываясь от них, таяли прозрачные белые клубки.

«Завтра будет вёдро²»,— глядя на маленькие тающие клубки, подумал Тимофеи. Он решил возвратиться в собор.

¹ Тропарь — церковная песнь.

² Вёдро — хорошая погода.

Тимофей любил его не в часы многолюдья, а вот таким, как сейчас: тихим и молчаливым, словно к чему-то прислушивающимся. Каждый раз открывал он здесь для себя что-то новое: то дивную линию арок, то нежный узор деревянной резьбы или каменного ковра. Эти открытия наполняли душу светлой радостью. В такие минуты он чувствовал в себе прежде неведомые ему силы, будто суждено свершить ему что-то большое, важное. Так, верно, в молодом деревце бродят живительные соки, нетерпеливо ожидая весеннего расцвета.

С трудом приоткрыв кованую дверь, Тимофей прокользнул на широкую каменную лестницу, что, извиваясь, вела на хоры. Здесь, поближе к небу, обычно молились именитые.

На стене возле колонны чья-то нетвердая рука нацарапала: «Се Степан псал». Миновав ризницы и не ведая, что неподалеку глубокий тайник, где хранится городская казна, Тимофей остановился у края хоров и стал вглядываться в росписи под куполом. Совсем молодой пророк Даниил, с серьезным, задумчивым лицом, поднял коричневую длань, словно говоря: «Не торопитесь, вдумайтесь». Убеждая, приложил руку к сердцу худоликий Соломон.

Посыпалась чьи-то шаги, и Тимофей поспешил спуститься вниз. Утомленно мерцали свечи. Нежные краски притвора влекли, как откровение. Тимофей подошел ближе к росписи. Печально смотрела на него своими огромными очами Елена Мартиреевской паперти. Над головой ее русский мастер сделал надпись: «Олёна». О чем думала эта Олёна? Чем-то напоминала она Тимофею его мать, раньше срока умершую от непосильной работы. Может быть, печалью в глазах, когда лежала тихая и покорная, прощаясь со светом и угасая?

Тимофей вышел на улицу.

Солнце пронизало вспенившиеся облака, и лик города просветлел, и засеребрились стены собора. Но севернаядержанность природы чувствовалась и в неяркой зелени садов, и в порывах ветра, что временами приносил издалека дыхание Студеного моря. Тимофей глубоко, всей грудью вдохнул воздух. Эх, до чего на свете любо! Любо вдыхать этот ветерок луговых просторов и дальних морей, слушать вкрадчивый плеск волховской волны, подставлять лицо скромному, то и дело прячущемуся солнцу и ждать от каждого дня, от каждой былинки чуда!

И, как это все чаще бывало теперь с ним, Тимофей внутренне снова ощутил приближение какой-то далекой светлой радости. Он не мог бы сказать точно, чего ждет, во что верит, но всем существом своим чуял: грядет тот желанный век, что принесет с собой великие свершения!

Мысли были неясны, клубились, как утренний туман над Волховом, но сердцем знал — вот так же, как сейчас, из-за туч брызнет лучами щедрое солнце, согревая озябший, истосковавшийся по свету мир.

На Легошинской улице Тимофей встретил Авраама. Кузнец обрадовался, стал шутить:

— Аль зазнался, сынок, не заходишь?

— Что вы, дядя Авраам! Недосуг... — И вдруг выпалил: — Ожениться собираюсь! На Ольге Мячиной...

— Да ну?.. — Авраам неодобрительно крякнул. — Неужто Мячин снизошел, не брюзжит боле, как худая муха в осень? Хотя, когда пять дочерей... — Он усмехнулся, в глазах его промелькнула живая, умная хитринка. — Вола в гости зовут не мед пить, а воду возить...

Тимофей насупился.

— Ну, лишнее болтаю, — посерезнел Авраам. — Счастья тебе...

— Вы, дядя Авраам, посаженым отцом будете? — тихо, просительно произнес Тимофей.

Старый кузнец успокоил его:

— Кому ж боле? Ясно, буду!

Только сейчас заметил Тимофей, что его учитель за последнее время осунулся, похудел.

— Не болеете, часом, дядя Авраам? — обеспокоенно спросил он.

Кузнец насупился:

— Эдоров, да одни чирьи зарабатываю, квас кишки переел.

И впрямь, почти все, что он зарабатывал, приходилось опять отдавать за долги Незде. А тут еще сестра заболела, племянник руку повредил, таская бревна, у всех одежда издырилась.

Они расстались. И Авраам, продолжая путь, огорченно думал: «Ну какая она ему опора. Все смешки да смешки... Что нашел в ней? — Он пошевелил густыми бровями, то собирая их на переносице, то распрямляя. — Ну, да не мне, старику, быть судьей и отговорщиком...»

...Когда Тимофе́й в первый раз засла́л сватов, ему отка-
зали.

— Молодá, пусть вольной погуляет,— сказал отец
Ольги, значительно поджимая губы.

Во второй раз, через полгода, приняли сватов приветли-
во и назначили говорный день. Авраам с Тимофеем при-
шли под вечер. Мячины посадили их в горнице на почетном
месте, в переднем углу. Некоторое время все молчали, толь-
ко было слышно, как во дворе суматошились куры.

Начал разговор Авраам.

— Мы для доброго дела пожаловали...— сказал он
с достоинством и оперся ладонями о свои широко расстав-
ленные колени.— У вас есть березка, у нас — дуб, давайте
вместе гнуть!

— Рады приезду,— степенно ответил Мячин, поглажи-
вая плеши́вую голову, а Ольга, вспыхнув, выпорхнула из
горницы.— Это верно, березка у нас отменная! — Он стал
расхваливать дочку.

Кузнец, терпеливо слушая, думал незло о Мячине:
«Худое колесо всегда больше скрипит».

Уговаривались они обстоятельно, не спеша, мучая мол-
чаливого Тимофея этими уговорами, и наконец сели состав-
лять рядную запись.

— «В зимний мясоед,— выводил Авраам,— возьму я,
Тимофе́й, себе в жены Ольгу...» Так? «Родственники выда-
ют за нее приданое: лавку, стол, платье... А за попятное...»

«Да кончайте же, какое там попятное! — молча пережи-
вал Тимофе́й.— Не надобно мне и приданого вашего, все
сам заработаю».

— «Мужу не бить жены своей»,— хитро улыбаясь в бо-
роду, писал Авраам.

Тимофе́й подивился: «Бить? На руках носить буду!»

Он вспомнил почему-то, как весной спрашивал Ольгу,
когда они ходили по-над рекой:

«Что ты боле ценишь — силу аль ласковость?»

«Ведомо, силу»,— не задумываясь, откликнулась Ольга.

Его лишь мимоходом задел такой ответ, но он тотчас
решил: «Значит, стану сильным!»

Вскоре Тимофе́й сжег на Ольгиной прялке куделю: мол,
пора тебе расставаться с девичеством. Назначен был день
свадьбы. Она прошла для Тимофея в сладком чаду.

Зажглись на пиру свадебные свечи; тощая, как жердь,
сваха, загородив Ольгу от жениха, сняла с ее головы венок

и, обмакнув гребень в меду, расчесала ей волосы, скрутила их и спрятала под покрывало.

Тимофею поднесли деревянную чашу с брагой. Он испил ее и, бросив чашу, стал вместе с Ольгой топтать.

— Так потопчем... всех, кто замыслит сеять меж нами раздор... нелюбовь,— в один голос приговаривали они, старательно вдавливая в пол обломки чаши.

Пьяненький Лаврентий надел на себя тулуп шерстью вверх; подойдя к Ольге, скривил влажный рот:

— Так что... Ольга... поздравляю,— и засмеялся нехорошо.

Ольга, взяв в руку чарку, постаралась чокнуться с женихом посильнее, чтобы из ее чарки брага выплеснулась в Тимофееву.

Лаврентий захохотал:

— Быть ему под пятой у женки!

Тогда встал из-за стола Мячин, принес плеть и, легонько ударив ею дочь по спине, спросил:

— Узнаешь... того... отцовскую власть? Да...— Это «да» он любил повторять словно бы для себя, раздумчиво. Он пытался придать строгость своим маленьким, белесым, как у вареного судака, глазам, но они только жалко помигивали.— Отныне... того... власть переходит в мужнины руки. Ослушаешься — он тебя научит этим витнем...

Мячин передал плеть жениху.

Тимофеем неловко заткнул ее за пояс; мучительно краснея, сказал:

— Мыслю, не станет нужды...— Подумал с нежностью: «Будем жить дружно, как зерна в одном колосе».

Лицо его словно светилось изнутри, и Ольга подивилась: «Как на образах».

Дородная тетка Ольги, сидя рядом с Тимофеем, все роняла слезы:

— Ты, Тимоша, не обижай наше дитятко малое, неразумное...

Потом все стало еще смутнее и чаднее, и Тимофею казалось, что это сон, и он боялся проснуться и смотрел на Ольгу восторженными, удивленными глазами, будто тоже видел ее впервые. Он пьянял не от выпитого, а от любви, счастья и сидел за столом нескладный, скованный, только блаженно улыбаясь: «Эх, нету братеника Кулотки! Где-то он сейчас?.. Скорее камень начнет плавать, а хмель тонуть, чем порушится наша дружба крепкодушная».

Тимофея нашел глазами Кулоткину Настеньку. Крохотная, притихшая, она сидела в ряду подружек Ольги, улыбаясь Тимофею милой, застенчивой улыбкой, словно ожидая терпеливо своего счастья. Маленькие точеные ее руки, русая головка, которую склонила она к плечу,— вся она показалась Тимофею такой родной, близкой, что он тоже ответил улыбкой, говоря ею: «Ничего, ничего, потерпи. Скоро вернется наш Кулотка».

Играли в бубны потешники, плясали и пели гости, вся «природа» невесты: сестры, дядьки и тетки. Только Машка хмурилась, не пела, лишь рот раскрывала, будто поет.

Поздно ночью разгоряченная Ольга выскочила на крыльцо, остановилась у перил. За Ольгой тенью скользнул Лаврентий.

— Завидки берут на Тимофея,— вплотную подойдя к ней, сказал он тихо.

— Сам плохо старался,— метнула на него из-под платка лукавый взгляд Ольга и отодвинулась.

Он приблизил к ней лицо:

— Еще постараюсь...— Голос сразу охрип.

В это время на крыльцо вышел Тимофея. Морозный воздух приятно опахнул его.

Высоко в небе стояла луна, и синевато искрился снег на пустынной улице. На дальних перекрестках, возле сторожек и решеток, перегородивших на ночь улицы, ярко горели костры... Приглушенные дверью, доносились крики гуляющих на свадьбе, их нестройное пение.

Тимофея подошел к перилам, обнял одной рукой Лаврентия, другой Ольгу; привлекая их к себе, счастливо и растроганно сказал:

— Милые вы мои, други на всю жизнь... Эх, Кулотки нет!

Призывно мерцало созвездие Гончих Псов, стыдливо рдели три звездочки Девичьих Зорь, а Млечный Путь, казалось, вел в дальние земли, к Кулотке...

СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ

Отшумела свадьба, и жизнь молодоженов потекла спокойным руслом. Поселились они в избе Тимофея на краю Холопьей улицы. Тимофея прирабатывал и сапожничанием, и тем, что изготавлял азбуки для продажи на Торгу.

На продолговатых дощечках процарапывал он все буквы алфавита, а внизу оставлял свободное место — натирать воском и списывать те буквы. К удивлению и радости Ольги, азбуки расprodавались легко. Что касается обещаний Незды, то он, увидя бескорыстие Тимофея, сначала платил жалованье от случая к случаю, каждый раз делая это как одолжение, как подарок «ни за что», но потом стал все же щедрее.

Увлеченный работой, Тимофея не замечал, что в городе простой люд стал относиться к нему холодней, настороженнее, словно бы присматриваясь и не зная, чего можно ожидать от него.

Кое-кто начал заискивать перед Тимофеем, кое-кто хмурился при встрече, а Игнат Лихой однажды, по простоте, брякнул:

— Как на нездовских-то хлебах? Стараешься?

Тимофея не обиделся, ответил спокойно:

— А чё же? И ты, чай, на моем месте старался б.

Сам же подумал: «Не краду, зла не умышляю... Что я Незде? А он приветлив. Вон недавно пергамент подарил, мешок зерна дал. Как это не ценить? Если дале так пойдет, и обучусь многому, и с Ольгой заживем неплохо... А свалки да драки к чему мне?»

Тимофея восхищался хозяйственностью Ольги, ее умением внести в дом уют и чистоту.

Она была редкостной домодержицей: на пороге появилась рогожка — обтирать обувь, на подоконниках — дорожки с узорами, вышитыми Ольгой; у пояса ее всегда висел игольник и роговой наперсток; широкая скамья-кровать, покрытая звериной шкурой, лавки у стен, стол по несколько раз на день обтирались ею; даже под образом Николы-чудотворца, что висел в углу, лежало на полище крыльышко для обметания пыли с полки.

С чем не могла Ольга справиться, так это с неистребимым запахом кваса, которым отец Тимофея при жизни и кожа дубил, и обливался в бане. Казалось, запахом этим пропитались стены, и Ольге не удавалось перешить его никакими травами.

У Тимофея был свой угол — с пергаментом, красками, перьями; у Ольги — свой, с еще материнским ларчиком, наполненным дешевенькими безделицами. Любила она перекладывать и рассматривать ушные подвески, янтарные бусы, витые браслеты из разноцветного стекла, височные

кольца и особенно гордость свою — ожерелье с красным сердоликом.

Тимофею не нравилась вся эта безвкусица, но, не желая огорчать Ольгу, он делал вид, что не замечает ее пристрастия.

Однажды, через месяц после свадьбы, он предложил Ольге:

— А давай, Олюня, я тя грамоте обучу?

Она удивленно засмеялась, прижалась к нему:

— Ну к чему мне это? Сам пойми — к чему? Щи тебе я и без грамоты сварю... Верно?

И он, поражаясь этой детской, безыскусной наивности, решил сейчас не настаивать.

Любила Ольга поверять ему свои сны.

— Гляжу, — от страха широко раскрыв голубые глаза, говорила она поутру, — будто на лавке я, а поверх меня покров черный, а на нем вороны черные скачут. К чему бы это?

— Не иначе к граду! — хохотал Тимофеей.

Ольга обидчиво умолкла.

Придавала она немалое значение разным приметам. У порога прибила подкову на счастье, прятала связку оберегов-тalismanов, сделанных из дерева: ложку — к сытости, птицу — к добру.

Однажды Тимофеей даже испугался, когда при ударе первого весеннего грома вдруг, сорвавшись с лавки, кинулась Ольга к двери, исчезла за ней. Он побежал вслед, глядит: Ольга подперла спиной липу, что росла у крыльца.

— Ты чего? — испуганно спросил Тимофеей.

— Телу крепость достаю, — еще плотнее прижимаясь к дереву, убежденно ответила Ольга.

Ходила она и дома опрятно одетой: в червчатом летнике из зуфи, в зеленых сафьяновых сапожках, подаренных Тимофеем, на голове постоянно носила голубой подубрусник¹, от которого глаза ее становились еще голубее.

Хозяйство Ольги было внизу, в подибице. Здесь стояли, как на смотру, кадь с зерном, горшки, оплетенные берестой, деревянное корыто для теста, ведра и кувшины. Ольга любила готовить пищу и от тетки переняла умение поварить.

Она знала секрет, как делать подовые пироги из квашенного теста и пряженые из пресного, начиненные мясом

¹ Подубрүсник — женский головной убор из тафты.

и кашей. На масленицу напекла такие — с творогом, яйцами и рыбой,— что слюнки текли. А в постные дни готовила отменные пироги с рыбой и горохом на льняном масле.

Она знала секрет, как по-особому квасить капусту, приготавливать злой хрен, редьку в патоке. В кладовушке у нее появились засоленные в запас огурцы, моченые яблоки, набирающие соки под тяжестью нагнетного камня.

Но самую большую радость приносили Тимофею те вечера вдвоем с Ольгой, когда они, уже затушив лучину, шептались в темноте.

Может быть, именно в этом тихом журчании шепота и была самая большая сладость, самое большое счастье? И он, вообще-то безмолвник, шептал ей, что когда-нибудь напишет «Слово о Новгороде» и оно потрясет людские сердца, нарисует красками, ласкающими глаз, невиданные буквы...

Ольга лежала тихонько, не шелохнувшись, оцепенелым камушком, думала с обидой: «Все у него не как у людей... Нет того, чтобы обнять до хруста... завел свое — буквы да слово! А я? Вон Лаврентий и сейчас вьется — обещает золотые подвески. Да не нужен вовсе! Спать хочется, а скажешь — обидится».

Тимофея облизнул пересохшие губы.

Она с готовностью спросила:

— Дать пить? — и, не дожидаясь ответа, вскочила, прошлепала босыми ногами по полу, налила в ковш вишневой настойки, разбавила ее водой.

От того, что услужала Тимофею, получала какое-то особое удовольствие: все становилось ясным — и для чего она с ним, и что ей надо делать.

Тимофея пил в темноте, а Ольга, поднося к его губам маленькую теплую ладонь, заботливо собирала в нее вишневые косточки, чтобы не насорил.

Напоив его, она легла рядом, и снова потек убаюкивающий, докучливый шепот о совершенно непонятном ей и ненужном.

Ольга бесшумно зевнула до слез.

— Ты внемлешь? — спросил он ласково и, проведя рукой по ее глазам, ощущил влагу. Радость обожгла его: «Это она за меня переживает».

— Внемлю,— сонно ответила Ольга, и скоро он разли-
чил мерное ее посапывание.

«Как малое дитя сморило.— Тимофея с нежностью по-

гладил длинные пушистые ее волосы.— Лада моя». Не спалось. Он соскользнул со скамьи и вышел на крыльцо.

Город чутко дремал. Неясно вырисовывалась на сером небе одноглавая церковь. Прокричал за рекой кочет и, захлебнувшись сонливостью, умолк. Притаившись, спали в низинах серовато-курчавые сады. Лишь изредка порыв ветра перебирал их листву, и казалось, она что-то сонно шепчет.

«Какая Олюня душевная! — думал Тимофей.— Во всем будет опорой... Доброе сердце будет опорой».

И даже тот холодок отчужденности, что иногда открывал он в ней, Тимофей объяснял неразбуженностью чувства, и от этого Ольга становилась ему еще милее и ближе.

— Все придет, все придет... — прошептал он, и ему захотелось написать похвальное «Слово женщины», как писали когда-то гимн солнцу.

«Все лучшее, что есть на свете, соединилось с твоим именем, о женщина! — слагал он «Слово».— Ты — невеста, мать, возлюбленная, сестра... В тебе так много ласковости, привязанности, заботливости, с тобой становишься чище, и хочется сделать что-то наилепшее¹, благое², чтобы ты, гордясь, улыбнулась благодарно... Что может быть краше девичьей поступи, краше начала любви, когда все неясно, полно особого смысла...

Ласкает глаз молодой дубок, влечет к себе величавая гладь Волхова, но что может быть купавее³ улыбки матери, зрящей свое усыпающее чадо?»

Начинался неторопливый синевато-молочный рассвет. Бледнела и таяла сиротливая луна. По-утреннему внятно клекотал Волхов. У берега, просыпаясь, заворочались, заполоскались чирки. В сторону от реки пролетела черножелтая иголка, скрылась в редколесье, и уже оттуда донесся ее удивленный крик.

Но вот на зеленовато-бирюзовом небе проступили розовые и янтарные прожилки, они становились все ярче, сочнее, и наконец над землей поднялось спокойное, веселое солнце, и заиграла, переливаясь, густая роса на желтых цветах касатика, и начали утренний благовест птицы в садах, покрытых розовым цветом яблонь.

«Минет сто, двести... пятьсот лет,— думал Тимофей,—

¹ Наилéший — наилучший.

² Благóе — доброе.

³ Купáвой — красивый.

все так же над головой будут проплывать облака, нескончаемо катить свои быстротечные волны могучий Волхов... От нас не останется даже праха... И все же мы останемся! Останутся деяния наши, человечьи чувства... и неувядаемо будет сиять великая краса, и какому-то другому Тимофею восхочется при виде березки припасть ланитой¹ к ее белоснежной коре...»

Он пытался представить себе эту жизнь людей через пятьсот... семьсот лет и не мог.

О чём будут они мыслить? Как одеваться? Какой будет вот эта Холопья улица, что расстилается сейчас перед ним?

И кто ведает... может быть, другой Тимофеем в одежде, совсем непохожей на его, с жизнью, совсем непохожей на его, будет стоять на пороге совсем иной избы и ждать пробуждения иной Ольги? Она будет такая же, как его, и совсем другая.

Но как ни силился Тимофеем представить тот дальний век, воображение отказывало ему — все было словно в густом тумане.

Только знал и верил: будет лучше, несравненно лучше — правдивей и краше.

РАЗДУМЬЯ

Тимофеем не заметил, как очутился за городом, в знакомых местах, где в отрочестве играл с Лаврентием в смелых людей, лазил по пригоркам, открывал тайные пещеры.

Недавно прошел дождь, и капли на кончиках ивовых веток походили на светляков. В свежем воздухе разлилась тишина. Пахло мятой и осенней болотной водой. Как и прежде, гляделась в речную гладь, любуясь своими белыми, словно выросшими из холма стенами, церковь Спаса-на-Нередице. Возле самого купола ее чудом примостилось деревце, изо всех сил тянулось ввысь.

Тимофеем вошел в церковь. Его охватила гулкая прохлада. Через узкие оконные прорези на каменные плиты легли неяркие лучи солнца — их появление здесь было неожиданным.

Он долго разглядывал щедро расписанные стены. Под самым сводом поднял для благословения десницу белобородый святитель Григорий в белом подrizнике, в голубой

¹ Ланита — щека.

с тремя черными крестами епитрахили, в красном плаще, шитом золотом, поглядывал вниз. Краски казались прозрачными, а вся фигура — легкой, летящей.

Великомученица Варвара в красной мантии с запоной будто покачивала подвесками в крохотных ушах. Тимофея подивился этим подвескам: уж больно мирскими они выглядели.

Но особенно поразила его картина Страшного суда: богач, корчась в адском пламени, молил бедного Лазаря дать ему каплю воды, а сатана протягивал богачу сосуд с огнем: «Друже богатый, испей горящего пламени».

Такая надпись в княжеском храме! Неспроста отец рассказывал Тимофею о мастере Петровиче, что осмелился сотворить подобное, а учитель Авраам говорил: «Ты пойди, пойди туда, погляди-ка получше — может, младенец, что и уразумеешь...»

В нише изображен был пещерный пророк Илья. У него буйные волосы, седая борода. «Тоже, земной,— подумал Тимофея.— Дивно умеют стенописать гречины, а все ж надо писать нам по-своему, вот так, как Петрович, чтобы похожи были на Кулотку, на отца моего, на Ольгу...»

Тимофея покинул церковь и стал спускаться с холма.

Заплелала следы трава. Во влажной низине оврага желтели заросли курслела, цвел голубой шлемник. На дальних полянах дразнила желтыми язычками шершавая кульбаба. А в лугах разевал по ветру пряди козлобородник, цвела лиловая мята и назойливо выкрикивала свое «киги! киги!» пигалица, будто что-то выпрашивала или скучно жаловалась. «Ведь вот поди ты — каждая птица свое платье и голос имеет»,— подумал Тимофея.

Он поднял с земли толстую гибкую ветку; надавливая на нее коленом и напрягаясь так, что вздулись жилы на руках, разломил ее. Улыбнулся победно, отбросил прочь отломанные куски и, распахнув руки, потянулся, словно хотел обнять весь мир.

«Реки сбегаются к морям,— думал Тимофея,— их воды становятся волнами. Так и в книжном море. Есть и новгородская волна. Что я? Горсточка влаги в той волне, но и я могу прибавить ей силу. Наступит пора, и вешним половодьем разольется по свету людская мудрость, накопленная и горсточками и потоками теми, кто умнее, ученее меня... Пусть не я, иные, на смену грядущие, прославят Отчину не только деяниями, а и словом правдивым...»

Он сел на пенек, укутанный уже поникшей, осенней травой, стебли ее обвивал бело-зеленый гречишник. Усмехнулся: в детстве верил, что под такими пеньками клады упрятаны.

«Дабы съесть орех,— продолжал размышлять Тимофей,— его надо вылущить из скорлупы. Так и со словом: освободи его от притворной мудрости, сделай простым, чтобы истинный вкус обрел».

В тихих водах Спасовки отражались купы серебристых ив и берез. Резвились нырки, взмывали ласточки, едва не касаясь крылами воды, и одинокая крушинница¹ лениво кружила над водой. Рядом с Тимофеем, выбиваясь из-под камня, неутомимо журчал холодный ключ, а в поднебесье бесконечными стаями тянулись на юг чибисы и перепела.

Всем сердцем своим любил и чувствовал Тимофей новгородскую задумчивую осень, ее закаты и восходы, ее заливные водой мшистые луга, и этот темно-зеленый бархат трав, и эту негромкую, усталую перекличку птиц. Он любил лес, охваченный пламенем: осины, небрежно набросившие на плечи багряные плащи, черемуху, величественно нарядившуюся в пурпур, стыдливо розовеющий бересклет, ольху, что еще долго стоит в скромном зеленом уборе.

Заполоняют сады синицы, стаи куропаток бродят по оврагам, красавы со вздыбленными хохолками общипывают рябины, а по ночам неподалеку от стен Детинца пугает прохожих зловещим криком ушастая сова.

Осень, осень! Утренняя роса на паутине, поземка из листьев по улицам, веселый перемиг анютиных глазок на чернеющих делянках, сосредоточенный взгляд ядовитого вороньего глаза в лесу... И грачевые гнезда на черных деревьях, и печальные луковки церквей на сером, в желтоватых подпалинах, небе.

Откуда-то вынырнул юркий, белоголовый мальчионка; протягивая Тимофею кусок бересты, попросил тонким голосом:

— Дяденька, сделай ладью. Ну чё те стоит, сделай!

Тимофей взял протянутый кусок березовой коры.

— Ладью так ладью,— охотно согласился он, снял с кожаного пояса нож-складень и начал строгать кору.

Мысли невольно обратились к Кулотке: «Где он? Что стало с ушкуйниками? Может быть, Авраам получил от Кулотки весть?»

¹ Крушинница — бабочка.

Выстрогав ладью, Тимофеем отдал ее мальцу, потом процарапал на берестяной коре: «Поклон от Тимофея Аврааму. К вечеру приду», — и спросил:

— Звать-то тебя как?

— Онфим...

— Кузнеца Авраама с Неревского конца ведаешь?

— Ведаю.

— Вот, Онфим, грамотку ему снеси. — Он порылся в карманах, нашел отвердевший медовый пряник — два голубя на ветке сидят. — Получай! — И подтолкнул мальчонку.

Тот припустил так, что только пятки засверкали.

Авраам, стоя у ворот своей кузни, молча, с неприязнью глядел на проходившего мимо Незду. На посаднике суконный каftан с золотым прыском, красные легкие сапоги. Он смотрел на кузнеца в упор, взглядом требуя почтения. Не дождавшись, скривился принужденно:

— Не признаешь, должничок?

— Как не признать! Да беда — гнуться не привычен.

— Гляди, упрешься — переломишься! — со скрытой угрозой в голосе произнес Незда, но тотчас, добродушно улыбнувшись, пошутил: — Сверху-то легко плевать, снизу сподручно ли?

— Спробуем, — сузил глаза Авраам, и, казалось, они полыхнули язычками ненависти.

«Повремени, прямодушный, скручу я тебя — милости попросишь!» — мысленно пообещал посадник и легкой походкой беспечного и всем довольного человека пошел дальше.

А кузнец, глядя ему вслед, думал: «Изгубило б тебя болезнями, присвойщик! Ишь плывет, как вошь в коросте. Погоди, встретимся еще на одной стезе — рылом хрен заставлю копать».

К Аврааму подбежал мальчик; протягивая кусок коры, сказал с трудом переводя дыхание:

— Дяденька, тощый передал... Вот...

И посмотрел снизу вверх выжидательно.

Когда Тимофеем шагнул в открытую дверь кузницы, Авраам загружал рудой и древесным углем сыродувную печь-домницу. В мастерской, заполненной дымом, валялись на



земляном полу клещи, молот, мехи. Кисловато пахло остывшее от накала железо.

Авраам разогнулся:

— Пришел, сынок?

— Доброго здоровья! Я узнать — нет ли вестей о Кулотке? Тревожусь...

— Сгинул ухарь,— покачал головой Авраам,— ничего не слыхать...

Они помолчали.

— Как с молодой-то живешь? — спросил Авраам, неторопливо вытирая руки тряпкой.

— Ладно! — живо откликнулся Тимофей.— Как един...

— Дай-то бог! — Авраам опять помолчал, словно колеблясь: говорить ли? И, видно решившись, сказал неохотно: — Мирская молва что морская волна... Болтают: торкается в избу, когда тебя нет, нездовский кисляй.

Сказал и сам пожалел. Лицо Тимофея стало темным от гнева:

— Подлые наговоры! Не верьте, дядя Авраам! Друг он мой! Если другу не верить — кому верить?

— Ну, прости. За всеми мухами не убегаться. И я хороши — болтлив, как женка с Торга. Прости... Он хитро прищурил серые умные глаза.— А я тут прымыслил... — Кузнец поднял с пола запыленную полосу железа и с силой отпечатал на ней большой палец руки. Протягивая полоску Тимофею, предложил: — Гляди да смекай, коли мышлальный.

Тимофей, ничего не понимая, с недоумением разглядывал волнистый отпечаток пальца.

— Не догадался? — Авраам довольно погладил бороду, поднял правую густую бровь, посмотрел пристально на Тимофея.— А кабы и буквы вот так оттискивать? А? Как печать-перстень? Отлитъ буковки и отпечатывать? Как мыслишь, мастер?

Тимофей даже подскочил от удивления и радости.

— А верно! Можно! — захлебываясь, воскликнул он.—
Можно!

— Я слыхал от гостей приезжих,— задумчиво сказал Авраам,— у китайцев один кузнец, вроде бы Мишней¹ звали, тоже, давно тому, додумался знаки делать...

Они еще долго и увлеченно обсуждали, как бы и впрямь придумать такую хитрость вместо рукописания, и Авраам, проведя рукой по своей гравастой голове, сказал задумчиво:

— Может, в нашем Новгороде потому и людей грамотных боле, что свободнее у нас дышится, чем в других городах? У нас простой людин к грамоте тянется...

— Людям всегда надо правду в глаза говорить! — словно отвечая на какие-то свои мысли, страстно воскликнул Тимофей и хрустнул нервными худыми пальцами.

— Так-то оно, дружок, так,— согласился Авраам.— Правдивое слово к сердцу льнет. Да ведь и очи колет... А богатеи ой как очи свои берегут...

И на этот раз Тимофей долго задержался у своего учителя.

КУЛОТКА В ЗЕМЛЯХ ЮГРЫ

Девять ушкуев отплыло из Новгорода, держа путь на северо-восток, в край непуганых птиц, некошеных трав, неловленого зверя.

Многие из этой ватаги в двести человек не впервой отправлялись на повольничество, бывали уже и за Большим камнем², и на берегах Студеного моря, и в Югре, ходили сквозь льды и тундрой, под парусом и на веслах, пробивались на лыжах и нартах, знали, сколько одиноких крестов разбросано по бескрайним северным просторам.

На этот раз, добравшись до Онеги, ватага разделилась. Шесть ушкуев пошли к Терскому берегу³, а три, возглавляемые угрюмым племянником боярина Милонега Дробилой, стали пробиваться к Двине и затем Печорой — в югорские земли. В этой ватаге и был Кулотка.

Ушкуи под серыми парусами скользили мимо неприветливых берегов, заросших дремучим лесом, мимо гряд опо-

¹ Кузнец Би Шен жил в середине XI века.

² Большой камень — Уральский хребет.

³ Терский берег — Мурманское море.

ков, что стертыми обмылками то выходили из красноватой глины, то скрывались под водой.

У порогов и водопадов ушкуи приходилось, надрываясь, ссаживая плечи, тащить волоком по земле.

Нет, не забава стягивать лады с мелей, по горло в воде переходить через реки, сутками брести под дождем или задыхаться от комариных туч.

Среди ушкуйников были и смерды, и бегляне-холопы, и боярские сынки, и черный люд — голль да чадь, бесприютные бродяги. Многих съединяла жажда наживы, и Кулотка, которого манили приключения, открытия неведомых, богатых зверем земель, скоро убедился, что все в этом походе было не так, как он себе представлял.

Очутившись в югорских землях, ушкуйники стали бесчинствовать. Поймав жителя, пытали его, а выведав, где становище, налетали, жгли и грабили.

Особенно отличался Дробила. Беспощадный, с налитыми кровью глазами, он исступленно вырезал югорские семьи, охотился за ними, как за зверем. На одном становище он, убив женщину, схватил за ноги ее ребенка, размахнулся, собираясь размозжить ему голову.

Кулотка не выдержал, подбежал к Дробиле, ударом в тяжелую, обросшую щетиной челюсть повалил наземь.

Низкорослый круглощекий югор, с глазами, блестящими от слез, подхватил своего дитя и скрылся с ним в лесу.

Дробила поднялся с земли. Выплевывая зубы, прошел, с ненавистью глядя на Кулотку:

— В Новгороде... сочтемся... Иди из сотни... с юричами... милуйся...

— И пойду,— сказал Кулотка, тяжело дыша, рукой сжимая топор за кушаком, готовый отразить нападение.

Рядом с ним стали еще два ушкуйника — зверобой Косарик и беглый холоп Гришка Сверчок. Гришка, недобро раздувая ноздри маленького носа, уставился предостерегающе на Дробилу. Косарик, нахлобучив свою шапку на узкие темные глаза, предложил весело сотскому:

— Вали своей дорогой!

А когда Дробила с остальными молча пошел дальше, Косарик помрачнел и неуверенно спросил у Гришки и Кулотки:

— Не пропадем, братаны?

Втроем они двинулись назад, домой.

«Не на грабеж ехали, на промысел,— думал Кулотка,



Кулотка не выдержал бесчинства Дробилы, подбежал к нему и повалил наземь.

бредя за нартой, запряженной белыми оленями с обломанными рогами.— Исследователи мы, а не тати и убийцы... И не стыдно будет Тимофею рассказать, как добывал себе мех, чтобы возвратиться к Настюшке с добром».

О Насте думал, как о тепле, как о любимом Новгороде, как о том, ради чего стоит жить и принять любые муки, только бы возвратиться к ней.

Их обступила ледяная пустыня с незамерзающими протоками воды, то там, то здесь выбивающейся откуда-то из глубины. Вода заливала нарты, исчезала так же неожиданно, как и появлялась.

Олени выбились из сил, их пришлось бросить и самим впрячься в нарты.

На пятый день, уже в сумерках, настигла непоправимая беда. Они пробирались по неверному льду. Косарик и Гришка тянули лямки впереди, Кулотка подталкивал нарты сзади. Лед провалился так неожиданно, что Кулотка успел лишь рвануть нарты на себя. Косарик же и Гришка мгновенно исчезли в полынье. Кулотка побежал к черному провалу; шиля в него короткой лыжей, кричал исступленно:

— Хватай, слышь! Я здесь — хватай!

Но Косарик и Гришка больше не появились.

Ошеломленный, подавленный, Кулотка долго стоял у страшной водяной ямы, все не веря в гибель товарищей. Впервые в жизни он плакал. Это был даже не плач, а судорожные всхлипывания, которых он никак не мог унять. Но делать было нечего, и, бросив нарты, тяжело горбясь, Кулотка продолжал путь один.

Северная зима преследовала его по пятам. Он узнал волчий вой выюги, осторвенные вихри метелей, поземку, что расстилалась по снегу, как белый дым, многоцветные шатры северного сияния и тлеющий зеленовато-желтый огонь неприветливой зари.

В заплечном мешке у него было десятка два шкурок пescцов, и это придавало сил, подбадривало.

Хорошо, что с детства привык он к лишениям, голоду и стуже.

Лютый мороз обжигал лицо, облеплял снежной маской, мешал дышать, казалось, наваливался ледяной грудью.

От нестерпимой снежной белизны ломило глаза.

Но Кулотка упорно продвигался на лыжах, проваливаясь в сугробы меж торосов, падая в расщелины, карабкаясь

вверх, срывааясь и вновь выползая. «Врешь, не оси-
лишь!» — стискивал он зубы.

У Кулотки кончились запасы, и он теперь питался мхом, ягодами клюквы, сохранившимися под снегом. Иногда находил, словно богом посланных, кем-то недавно убитых зайцев, белых куропаток и удивлялся: откуда это?

Рысь близко шла по его следу. Он пустил в нее стрелу; рысь прыгнула, но только разодрала ему плечо. Кулотка размозжил ей голову топориком и потом долго с наслаждением пил ее горячую кровь. Насытившись, разглядел рысь получше: хвост короткий, словно рубленый, черные кисточки на ушах, а в боку — что за чудо! — не его Кулотки, стрела, а чья-то чужая. Он уже отвык удивляться чему бы то ни было в этой суровой стране, поэтому не удивился и теперь.

К вечеру он стал переправляться через узкую, глубокую речку, достиг уже ее середины, когда лед проломился и вода нестерпимо обожгла тело, жадно охватила его. Кулотка успел только сбросить с себя мешок с мехами, и тот закачался на поверхности, как поплавок.

Последняя мысль была о Настеньке: «Вот и не доведется встретиться...»

Кулотка пошел ко дну.

ВЛАДЫКА

Новгородский владыка сидит один в глубоком кресле. Пальцы его покоятся на обтянутых кожей подлокотниках, голова утомленно откинута на высокую спинку.

Снег залепил слюдяные окна в деревянных переплетах. Тускло поблескивает в дальнем углу кельи выносной крест, теплится лампада перед иконой в затворе, где обычно молился владыка.

Тишина и знакомый, едва уловимый запах ладана действуют умиротворяюще.

Бесшумно двигаясь по войлоку, старый келейник зажег свечи, придинул к ногам владыки мягкую подушку и так же бесшумно скрылся.

На владыке — легкий подрясник, бархатная шапочка-скуфья, на груди привычно пригрелась круглая панагия¹ в оправе с жемчугом. Отечное лицо владыки изборождено

¹ Пана́йя — иконка.

глубокими морщинами, устало и бледно. Усталость серой тенью легла на большой выпуклый лоб, угнездилась в синеватых, набухших на висках жилах.

День был утомительный: после службы в соборе принимал послов датского короля Канута VI. Опять датчане затеваю неладное — тайно сговариваются с папой Иннокентием III, с германским королем Филиппом Швабским и крестоносцами... Надо всеми силами отстаивать православную церковь...

Владыка прикрыл глаза, зашептал привычно:

— О, пречистая богородица-царица, мать Христа — бога нашего! Соблюди церковь свою недвижиму святой и нерушимой до скончания мира... Приими молитву раба твоего архиепископа Митрофана, подай ему и стаду Христову милость и благословение духовное, дай живот многолетен ему со всеми детьми-новгородцами...

Многолетен! Доживаю последние годы... Прошел длинный, тернистый путь... Сын суздальского пономаря, Митрофан рано получил книжное воспитание. Пятнадцать лет очутился в монастыре, среди лесов и болот, проявил редкостное благочестие и смирение: в понедельник, среду и пяток вкушал лишь хлеб с водой и слезами, охотно услужил братии; в постах, бдении, уединенных молитвах проходило молчаливое житие. И на него обратили внимание: перевели в Антониев монастырь, где он, слабый и хворый, носил железные вериги, был замечен владыкой Мартирием и назначен его казначеем.

И вот здесь-то, когда оставался Митрофан наедине со своими мыслями, у него все чаще, с нежданной силой, стала возникать честолюбивая мечта о власти. Он бы и сам не мог сказать, с чего именно это началось: с чтения ли еще в монашестве книг о властелинах, когда игрой воображения вызывал он самце смелые картины, или с того, что, став казначеем, приблизился к владыке и власти его. Он только помнил, что особенно ярко разгорелось это неуемное пламя и начало жечь нестерпимым огнем после того, как впервые увидел он облачение владыки перед службой.

Поверх длинного белого подрясника с широкими рукавами надели на неказистого Мартирия нашейнюю узкую епитрахиль коричневого цвета, затем фелонь¹ бухарского шелка, на груди и плечах его забелел омофор², расшитый

¹ Фелонь — риза.

² Омофор — часть архиерейского облачения.

золотыми нитями, на голову легла митра, украшенная драгоценными камнями, а в руки взял владыка кизиловый посох с навершьем из слоновой кости.

Нежданная мысль обожгла тогда Митрофана: «Да я ж умнее тебя, и на мне все это величавее было б».

На мгновение он почувствовал, как лоб его приятно сдавила митра, руки ощутили холодок костяного посоха.

Ему даже сниться стало, как надевает он на себя одежды владыки, и, просыпаясь, он шептал смятенно, в тоске: «Господи, освободи душу мою от вожделения».

Через много лет Митрофан стал игуменом Антониева монастыря, правой рукой владыки, который с этого времени начал отчего-то чахнуть и умер в корчах у озера Селигер, едучи с Митрофаном по вызову в суздальский Владимир. Похоронили Мартирия в золотой паперти Софийского собора, а на площади у Софии собралось вече для выбора нового владыки. Хотел было Всеволод без выборов назначить епископа, да раздумал — с Новгородом тонкость надобна: хотя бы вид сделать, что вече избрало.

На трех одинаковых жребиях записал посадник по одному имени: Антония, Спиридона, Митрофана. Жребий скрепили печатью Софийского собора и положили на главный престол. После литургии к престолу подвели рыжего слепца Федора Чапиногу. Был Чапинога худ, редковолос, а на его лисьем лице, казалось от испуга, обильно проступили темные пятна.

Потянув чуткие пальцы к престолу, слепец легким прикосновением ощупал, огладил все жребии, на секунду задержался на одном из них, словно прочел что-то лишь ему видимое, и, оставив этот жребий на алтаре, два других поспешно передал седенькому, с козлиной бородкой соборному протопопу Матурице. Тот вынес их на площадь к народу, потоптался и, развернув первый жребий, возгласил тоненьkim, пронзительным голосом:

— Спиридон!

В толпе зашумели, будто ветер прошел по верхушкам деревьев, зашептались: «Отвергнут престолом... отвергнут».

А пронзительный голос Матурицы вновь выкрикнул, считав со второго жребия:

— Антоний!

И, словно собор обвалился, закричали разом тысячи

глоток, всполошенные вороны шарахнулись в поднебесье, поднимая неистовый грай.

- Святая София Митрофана избрала!
- По божьему изволению!
- Суздальский подручник!
- Многая лета владыке Митрофану!
- Заглохни, горлодер, чё кадык распустил!
- Засовом рот не запрещь!
- Запрем!
- Митрофан — владыка!
- Готовь запасную голову!

Завязался короткий бой и тут же улегся.

Слепец за алтарем настороженно прислушивался. Различив крики: «Митрофан — владыка!», он облегченно вздохнул и вытер пот со лба. «Теперь, Чапиног, и на твою старость перепадет!» — радостно подумал он.

И Матурица был необычно возбужден. «Неужто стану казначеем? Неужто стану?» — бесконечно задавал он себе вопрос.

Посадник и тысяцкий нашли Митрофана в одной из комнат владычного дома.

— Пришли, отче владыка, возводить тя на сени! — низко кланяясь, сообщили они.

— Недостоин я сана великого,— смиренно сказал Митрофан, но его взяли под руки и повели сначала по ступенькам к сеням, а потом в Крестовую палату.

И весь путь туда неотступно билась, трепетала радостная мысль: «Вот и достиг, достиг!» И снова, как тогда, при облачении владыки, только на этот раз не в помыслах, а въявь почувствовал он и сладостную тяжесть митры, и долгожданный холодок посоха.

«Достиг... и богатства и власти...»

Он принимал послов и отправлял своих в дальние и ближние земли, судил, благословлял ратные походы, подписывал договоры и уславливался о мире.

В тайники владычной казны бесконечным потоком текли пошлины с судебных тягот, доходы с десятины, «благословенные куницы» за посвящения в духовный сан, «поплещная пошлина» с псковских священников и «новоженные убрусы» с венчаний. Текли приношения смердов, деньги за пользование весами, что стояли в церковных притворах, «подъезд» и «поминок», за поездки по епархии.

Впрочем, сам владыка выезжал не часто, но всюду рас-

сыпал своих «десятников», и они творили его именем суд и расправу, в городах над духовенством начальствовали соборные protопопы. Митрофан же занят был тем, что строил башни, городские стены, церкви, расходуя казенные деньги, и ему казалось, что этим строительством он и сам все выше взбирается по каким-то невидимым ступеням.

В его распоряжении был полк «владычных молодцов», дворецкие, ключники, приставы, многочисленная дворня: все эти чашники, стольники, истопники, медовары, звонцы, строители, рукодельники... Во дворе стояли и строились сушила, погреба, житницы, работали мастерские серебряных дел, кузнецкие, шорные, столярные — всех не перечесть.

Софийские дьяки вели владычные записи. «Софийские бояре и чада боярские» — софияне — из рук его получали за верную службу земли.

Да и его собственные владения — деревни со смердами, луга, леса, пашни, покосы, рыбные ловицы — были разбросаны повсюду.

«Достиг! — Он усмехнулся грустно, погладил панагию на груди.— А счастья нет... Все суёта, прах, тлен... И на пороге — смерть... И, кроме неимоверной усталости, ничего нет».

Пересиливая себя, он встал с кресла, подошел к медному рукомойнику, висящему на цепочке в углу кельи. Был тот рукомойник чуден: монахи сказывали новгородцам, поймал однажды еще владыка Иоанн в него беса крестным знамением и заставил того беса за ночь свести себя в Иерусалим и доставить обратно.

Митрофан омыл руки, лицо, и будто от этого мысли его сразу приняли иное направление, а сам он, стряхнув минутную слабость духа, распрямился: «Завтра надобно собрать Тайный совет: в городе неспокойно. Ладно, что никто еще



не проведал о сем совете,— разумная сила должна управлять всем, хотя бы исподволь...»

Вспомнил вече, проклятое богом, и гневно сверкнули глаза: «Делает все, что хочет! Епископа Стефана посадили на кобылу, заставили играть на волынке, а потом удавили. Федора таскали за волосы, пинками выгнали с владычного двора, псов натравили. Хороши забавы у Господина Великого Новгорода, у худых его мужиков-вечников! Одного владыку, негодивцы, прогоняют потому, что он «пришел», другого — потому, что стоят морозы... Тысячеглавое чудовище! Только и ждет часа своего. Если не усилить власть больших людей, худые и безыменитые верх возьмут».

Ему на мгновение показалось, что зазвонил панихида вечевой ненавистный колокол, и сердце заныло. Нет, послышалось!

Он резко повернулся, чтобы вытереть руки, и вдруг припал к креслу, оперся о него: поясницу пронизали страшные кинжалные удары. Митрофан задохнулся от боли, стиснул зубы, с трудом сдерживая крик; на лбу его выступил холодный пот.

Начинался приступ каменной болезни.

ТАЙНЫЙ СОВЕТ

Нынешняя зима была страшной для Новгорода. Еще летом все пожгла сухмень, осенью мороз убил озимицу, потом обрушилось на людей и скот моровое поветрие. Болезнь, словно рогатиной, ударяла человека под ключицу, горло делалось красным, набухали железы — он начинал харкать кровью и на третий сутки сгорал.

Некий монах видел не во сне, не в привидении, а наяву знамение: шла богородица, и кровь стекала с ее ризы, и явился змий безглавый, ухватил того монаха, аки ветер, понес и под мост бросил, и лежал он овцой бессловесной. И было после того в небесах обильное шествие звезд хвостатых, словно бы с волосами распущенными, и звонили сами колокола.

Народ сокрушался — неспроста это: духи умерших скакут на конях по улицам, поражают всех без разбора.

От мора и глада гибли тысячи, живые не спасались хоронить мертвых. Смрад стоял над городом. Наемщики сво-

зили трупы на церковные дворы, клали по нескольку в гроб, без счета бросали в скудельни¹.

...Пятый день валил снег. Намело сугробы у стен Софийского собора, и кажется, подпирают его белые высокие лаги. Давно бы пора прийти весне, но она, видно, забыла о новгородцах, прогневалась на них неведомо за что.

Резкий ветер свищет подгулявшим ушкайником, ударяясь о звонницы, заставляет тихо стонать колокола, взметает вихри снега на пустынной вечевой площади и, куролеся, мчится по Великому мосту к дальним городским воротам.

Редкий прохожий решается пройти в этот вечер метельной улицей. Снег все валит и валит, облепляет башни и стены Детинца. В такую непогоду трудно представить весенний Волхов, шумливый Торг, трудно представить, что можно делать что-либо, а не сидеть у печи, подбрасывая в нее поленья.

Но к дому Незды один за другим пробираются какие-то люди, скрываются в воротах. Вот идет, тяжело сопя, с трудом преодолевая ветер и снег, дородный муж — старый посадник Захар Ноздрицын. Внезапно он шарахается в сторону: почти у самого дома Незды, рыча и сверкая зелеными глазами, гложет труп младенца одичалый пес. Возле младенца лежит мертвая женщина. Захар крестится и торопливо вваливается во двор.

У Незды сегодня сбор Тайного совета.

Владыку скрутила болезнь, он пил настойку из семи трав и жалобно стонал. Незда решил собрать совет у себя — дела не разрешали откладывать.

В гридне с образами, прикрытыми занавесками, со стенами, обитыми сукном, с ковром на полу собирались все те же: прежние посадники и тысяцкие да Милонег. Сидели на меховых полавочниках, оттаивали заиндевевые бороды.

Свечи в железных ставцах на стенах щедро освещали установленный яствами дубовый стол посреди гридни.

Золотилась гусатина в судках с резными птицами, машили поддумяненной кожицей поросята. Копченые сиги величиной с руку распластались на серебряных блюдах с самоцветами по ободьям. Чаши, наполненные пивом, венгерскими и романейскими винами, выстроились стражами между бллюд. Огни свечей играли на высоких стоянцах кубков, на серебряной оковке турьих рогов, на солонках с чешуйчатыми боками.

¹ Скудэльня — место погребения.



Незда отпустил слуг, сам гостеприимничал:

— Не побрезгайте... Сига-то давно для вас берег...

Был Незда сегодня особенно возбужден и красив, чаще других пригублял ковш с медом, ставленным на дрожжах и хлебе, но не пьянел. Верно, потому, что нервничал: «Сказать им или нет, что подозреваю — владыка с Юрием Суздальским снюхался? — Решил: — Не скажу. Милонег первый побежит завтра к Митрофану выдавать... Мстислав к Киеву пошел, и прикончит Юрий меня, как Всеволод Олексу...»

Недолюбливал Незда и Мстислава, но не считал его опасным для себя и не прочь был, чтобы тот находился сейчас где-нибудь поблизости.

От Юрия Незда не ждал для себя добра. «Хочет сделать братьев своих самовластными князьями, в Новгороде своего посадника поставить. И ведь добился — брата его Ярослава пригласили на княженье,— недовольно подумал Незда, отпивая из ковша и делая вид, что опьянел окончательно.— Что мне с того, что Юрий сильнее станет! Мне забота — наш род крепить, нашу мошну полнить. Вече надо



не разгонять, как вожделеет Митрофан, а по-своему поворачивать... — Усмехнулся, сузив глаза: — В случае чего, дам знак своим: подпалим город с разных концов... завьюжит огненная метель, в ней сподручней свершить замысленное».

Вздрогнул, как от озноба. Жутковато было вести эту игру, но вел ее безоглядно, веря в свое неизменное счастье.

С мороза выпили немало и гости, языки вскоре развязались, голоса стали громче.

От этих громких голосов и проснулся Тимофей в соседней клети. Он лежал на полу, укрывшись тулулом, за изгородью из рукописей и книг, которые словно бы составляли колодезный сруб. В этот сруб с вечера забрался ТимофеЙ, решив домой не идти, а утром встать пораньше и дочитать увлекшую его рукопись киевского митрополита Иллариона «Слово о законе и благодати» — уж больно хорошо писал Илларион о предках русских, «мужеством и храбрством прославивших в странах многих...»

ТимофеЙ предупредил Ольгу, что домой не придет. Незда же перед сбором гостей заглянул в клеть с книгами,

но никого там не заметил и решил, что книгохранилец ушел.

Тимофей прислушался.

— А я взаймы даю муку... Пошто не дать, если в ногах ползают? — раздался надтреснутый голос, и Тимофей узнал старого посадника Захара.

— Да ведь затхлая та мука твоя! — прорычал тысяцкий Анастасий.

— А кто ж им брать велит, пусть дохнут! — Захар крепкими зубами разгрыз гусиную кость, стал обсасывать ее. — Для друзов последний кусок съем...

«Подлые вы, подлые! — ужаснулся Тимофей. — На гладе и море наживаешьесь...»

А за дверью раздался вкрадчивый голос Незды:

— Вот что, мудрые мужи новгородские, хочу вам немаловажную весть поведать: в Торжке черный люд гиль¹ поднял...

Он помолчал. В гридине воцарилась тишина, только кто-то чавкал, и казалось: минут мокрое белье.

— А нам-то что с того? — пьяно вопросил Анастасий.

— Да хоть в преисподнюю провалиться Торжку! — подтвердил и Захар.

— А мы вече призовем идти на Торжок, — продолжал Незда.

— Да кто ж пойдет? В граде одна голь осталась... И какая нам польза? — не понимая, допытывался Милонег.

— Вот какая, законодавцы, — еще вкрадчивее произнес Незда. — Скажем на вече: глад в Новгороде потому, что в Торжке возы с хлебом задерживают... Наши ж люди те возы в Торжке и задержат... И отправим в Торжок чернь на чернь, самых буйных... Выходит, есть нам польза — побувавить сброва...

Снова воцарилась тишина. Первым изумленно нарушил ее Анастасий:

— Ну, дальновидец ты, Незда! Дальновидец! Замыслить такое? А? Пусть свиньи пережрут друг друга! — Он радостно захохотал, и они все вместе стали оживленно обсуждать, как лучше подбить чернь на поход, когда собрать вече.

— Я на вече, — сказал Незда, — возвещу: жалую на поход обоз муки. Да и вы раскошелитесь. Окупится.

Тимофей лежал ни жив ни мертв: «Так вот каков

¹ Гиль — мятеж, восстание.

Незда, вот каков!» Ему припомнились слова Авраама:
«Спрятал душу свою грязную в темный угол...»

А голос Незды уже иное предлагал:

— Мы, мужи великие, смертны. Заберет нас господь к себе в рай, а на земле и памяти о нас не останется. Не обидно ли сие? Надо, чтобы свой человек о нас в летописи помянул. Мыслю, может сие сделать Тимофей, что я привытил. Поручим ему. Дабы потомки знали справедливость передних мужей... Слово — ветер, а письмо — век.

— Может, боле пристало ту летопись владычным писцам творить? — с ревнивым сомнением спросил Милонег.

— Думал я о сем... — раздался в ответ голос Незды. — Пусть пишут... А Тимофей не списатель, а сам писатель. Приглядываюсь я к нему — премудр не по летам. К тому же друг сына моего, покорлив. А поглядели бы, какие заставки делает!.. Да я сейчас принесу...

Тимофей похолодел, сжался в комок.

Незда поднялся, чтобы взять поставец со свечой и пойти в соседнюю клеть, но Милонег сказал:

— Тебе, посадник, виднее. Тимофей так Тимофей. А нам пора расходиться — время позднее.

Они задвигали лавками, затопали сапогами, и скоро в грядне наступила тишина.

Тимофей лежал с широко открытыми глазами. Он видел трупы на улицах Новгорода, слышал умоляющий шепот умирающих: «Хлеба... хлеба...»

Ему нестерпимо стыдно стало своих прежних мыслей о «вечной красе», одинаковой и для Незды, и для Кулотки.

— Множить красу! — издеваясь над собой, презрительно шептал он. — Для кого? Вот для сих богатин, что замышляют черное дело? Разве не ясно тебе, глупец, что неподкупная правда — родная сестра красы? А губителей надо зубами рвать, зубами! — Он до боли сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. — Господи, дай силы завтра не выдать себя, дай силы... Опишу я ваш, коварники, золотой век — запрыгаете!

СЛОВО О НОВГОРОДЕ

Утром, когда Незда вошел в клеть Тимофея, он застал его уже там и опять подивился его прилежанию. Книгохранитель старательно подклеивал «Устав о мостах» Ярослава Мудрого.

Тимофей показался Незде бледнее обычного, ввалившиеся глаза его лихорадочно блестели.

— Не болен ли? — с ласковой заботливостью спросил посадник, перебирая крупные янтарные четки.

— Да, недужится... — ответил Тимофей.

— Верно, простыл? Поди домой. Жена молодая насточечку малиновую даст, все как рукой снимет. — Он пошел к двери, но, будто что-то вспомнив, возвратился: — Порадую тебя... — Помолчав, сказал торжественно: — Выпала тебе, Тимоша, великая честь — правду написать о Господине Новгороде, о тех, кто владеет и рядит им по праву!.. Выздоровеешь — садись за наше жизнеописание. Бог и правда — в помощь! Верю: сделаешь сие как преданный слуга, и наперед рад за тебя, как за сына... Награжу щедро. А сейчас поди в кладовую — выдадут тебе полкади муки. Небось не помешает.

Про себя подумал: «Кто знает... может, так и приходит бессмертие правителей? Что ведали бы мы о Сулле, не будь Аппиана, о тирании Набида без Полибия? — На секунду возникло лицо Тимофеева отца, но отогнал это видение, как слабость. — Стойт гривной брякнуть — и любой куплен, — повторил он то, что не однажды говорил себе. — А купить не можешь — хватай за рога, не то тебя схватят».

Уголки тонких губ дрогнули. «Сильный скользких сможет, стольких и сложет» — так учил его отец, скупая перед гладом хлеб, так учит он Лаврентия. В том и мудрость вся. Вот только пойдет ли Лаврентию на пользу то, что внушает ему...

Тимофей вышел на заснеженную улицу. Ветер утих. Сугробы снега занесли изгороди, избы с заколоченными дверьми белыми горбами легли на крыши. Безмятежно серебрились купола церквей. Плыл над городом звон, утешая усопших.

Кое-где поднимались от изб к сиреневому небу бессильные дымы. Облезлый ворон, сидя на верхушке заиндевелого дерева, косо поглядывал вниз и требовательно каркал.

За мукой Тимофей не пошел. «Пусть подавится ею, а меня не купит. — С болью подумал об Ольге: — Ждет она, что принесу... — Но тотчас отбросил эту мысль. — Ничего, мы, как все...»

Пустынной улицей шла от реки пожилая женщина с ведрами на коромысле. Черный платок подступал к скорбным ее глазам. Вот женщина поскользнулась, упала, рас-

плескала воду, попыталась подняться и не смогла. Покорно припав к мгновенно обледеневшему снегу, прикрыла глаза. И сразу над ней закружил, каркая, ворон. Мимо женщины прошел, не взглянув на нее, боярин в бобровой шубе и высокой шапке, ускорил шаг.

Тимофей подбежал к женщине, испуганно забормотал, отрывая ее от замерзшей воды:

— Ну что ты, что? Иди домой...

Женщина поднялась, поглядела на Тимофея пустыми глазами, и вдруг судорога искривила ее белые губы.

— Нежата помер.

Она побрела неведомо куда.

А над городом плыл и плыл задумчивый и печальный, как тихий вдовий плач, похоронный звон, и казалось, не будет ему конца, и сердце сжималось от тоски.

Вдруг улицу огласили крики: два дюжих боярских приспешника тащили по снегу костлявого, упирающегося новгородца.

— Да отколь же мне ноне деньги взять?! — кричал костлявый, силясь вырваться из цепких рук.

Но его подталкивали сзади коленями, втащили во двор боярина Анастасия, и уже оттуда до Тимофея донесся грубый голос взыщика:

— Приволокли! Вот дам те палок — узнаешь, как долг зажиливать! Забью до смерти, а с женки взыщу.

Тимофей торопливо зашагал к Аврааму. К нему всегда тянуло, когда на душе было тяжко, когда надо было посоветоваться или поделиться радостью. Сейчас гнев душил Тимофея, он знал: надо обо всем, что открылось вчера, поведать Аврааму, и тот придумает, как спасти город.

Кузнец, услышав рассказ о Тайном совете, пришел в неистовство:

— Надумали, волчьи души! Погодите, мы вам приготовим поход... Сбегай, Тимоша, поскликай ко мне Павшу, Прокшу, Игната — всех наших... Мигом!

В нижней клети Ольга скребла ножом стол, вспоминала, как однажды, еще в девичестве, задумала узнать, сварливая ли свекровь ей попадется. Налила в сковороду воды, положила камушки да охлопки и зажгла те охлопки, сверху горшком прикрыла. Вода забулькала — подавала знак: жди плохую свекровь.

Ольга печально вздохнула: «Ан никакой свекрови нет... и, может, худо то... Обо всем самой забота, муж как чадо неумелое, не ведает, что откуда берется. И ничего не будет — не заметит. В избе пусто, на завтра корки нет. Где достать? — Слезы невольно потекли у нее из глаз.— Даже синиц покормить нечем».

Во дворе пристроил Тимофей к липе лоток для синиц, подкармливал их крошками и сухими ягодами, приучал, чтоб не улетали. «Хоть тараканов ошпарь да вынеси им, как другие делают. Да у меня тараканам раздолья нет»,— сквозь слезы улыбнулась Ольга.

Послышались шаги Тимофея. Он стряхивал на пороге снег с сапог. Войдя в избу, сразу заметил слезы Ольги, спросил встревоженно:

— Что ты?

— Ничего...— Она силилась не расплакаться и не выдержала, всхлипнула: — Осьминка ржи — гривна, что дале будет? Ты-то что принес?

Он обнял ее:

— Переможемся. Достану!

— Да-а, «переможемся»! — недоверчиво протянула она.— Всегда ты так...— Но приободрилась: — Погоди, сейчас накормлю.

Он отказался. Есть не хотелось. Поднялся наверх, сбросил с себя тууп, выпил воды из глиняного кувшина и нервно заходил по горнице.

«Надо все продумать, все. Чем начать «Слово» и чем закончить? Строить, как храм иль крепость, по чертежу... И писать без украс, не пропуская правды... Сначала начертано, на бересте... Слова простые отделять от мудреных, дабы просторечно было...»

Вспомнил, как Авраам говорил: «На правду мало слов надобно». И верно, в краткости — сила.

Он присел на лавку у стола, переплетая ноги, положив подбородок на ладонь тонкой руки: «О ком писать? И для чего все то, что напишу? И где самому стоять и что защищать? Неужто так писать, как и прежде писали: о граде, о громе, о возе сена, что в Волхове потонул?»

Вскочил, опять забегал по пустой клети. «Нет, нет, надобно писать «Слово о Новгороде», об Аврааме и Кулотке, о женщине, что поднимал сегодня, и о подлых богатеях... Вот не люб мне, Тимофею, князь Владимирский Всея волод, но что я, когда есть Русь неоглядная, ее заботы и правда?»

Он на мгновение представил эти необъятые просторы: Киев и Сузdalь, Волга и Днепр. «Вот бы съединить это все, как мечтает Авраам, наделить одним разумом, и тогда никто не страшен. Сила против врагов удесятерится, и гордые гречины станут приезжать на Русь в ученье, и на весь свет прогремит наша слава. Значит, прав Авраам. Значит, надобно мне шире и дальше Новгорода глядеть, блюсти в «Слове» справедливость, отметая малую, Тимофееву, неприязнь. Записывать, что в одно и то же лето произошло не только у нас, но и во всей земле Русской...»

Так он метался до ранних сумерек, и Ольга уже несколько раз испуганно поглядывала на него, предлагала повечерять, но он все отказывался.

Трудно ей приходилось с таким — непонятным. Был бы, как все, сапожником аль плотником, жили б тихо, бестревожно... А то молчит днями, что-то свое обдумывает, или вдруг словно прорвет его весельем. Прошлой весной в первый ливень выбежал во двор, заплясал мальчишкой по лужам, загорланил, подставляя лицо струям:

Дождь, дождь,
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лен
Поливай ведром!

А потом мокрый вскочил в избу — и к ней. А она — вокруг стола. Визг, шум. Будто другой совсем. Но ненадолго. Потом опять посумрачнел, вышел на порог и, скрестив руки на груди, глядел и глядел куда-то в даль, будто за стенами Детинца, за лесами различал что-то лишь ему одному доступное. И тогда увидела Ольга на лице его уже знакомую ей тень непонятного, что отгораживало Тимофея, делало его чужим и трудным.

Ольга налила в светильник медвежьего жира, зажгла клок пакли и решительно стала накрывать на стол. Положила горбушку ржаного хлеба поставила миску пшенной каши, села рядом с Тимофеем.

— Я-то повечеряла,— обманула она и отщипнула от горбушки кроху.

В ушах ее блеснули подвески — уточки с яхонтами.

— Это откуда? — спросил Тимофея, рассеяно глядя на подвески.

Ольга покраснела, подняла ясный лик:

— Тетя подарила...

— Ладные какие! — залюбовался Тимофей.— Ты в них еще краше.— Он притянул ее к себе, неподатливую, упирающуюся.

— Ну что ты вздумал... Ешь, пока не простыло.

Тимофей неумело ткнулся губами в ее голову, укололся гребнем. А на душе как-то сразу посветлело, стало легче. Думал: «Пока Олюшка рядом — все одолею. Не покривлю совестью: тем и послужу Новгороду, что расскажу о нем правду. Правду о том, что есть Тайный совет, что на вече все подстрекают, что стонет земля новгородская под пятой у бояр. Вот это и будет тем «Словом о Новгороде», о котором мечтал когда-то.

Он сел писать.

Сменялись дни. Он забывал о пище, вскакивал ночью, чтобы записать на бересте строку, плакал и смеялся над ней. Он не помнил времени, когда был счастливее, чем сейчас. Все прежде сделанное казалось ничтожным, неумелым, и верил: то, что делает ныне, наконец настоящее, ради чего появился на свет и жил.

Но потом, перечитывая написанное, исступленно разрывал кору: «Не то! Не то!»

Порой вспыхивала, как черная молния, мысль: «Не дадут дописать!» Но шептал:

— Нет, напишу... пусть не при мне... пусть потомки прочтут, им поведаю правду...

На четвертый день Тимофей решил выйти подышать свежим воздухом. Его тянуло к Волхову. Было у него там излюбленное место на крутом берегу, возле могучего дуба. Отсюда открывались широкие дали, здесь хорошо думалось.

Тимофей вышел на улицу. Накрикивали тепло галки, было безветренно, от чистого крепкого воздуха кружилась голова. Скоро весна!

И хотя сейчас еще заметены снегом и черная, в трещинах, кора липы, и подвески орешника, и темные шишки ольхи, а все же улавливал Тимофей приближение весны. Она чудилась ему в робком запеве побуревших за зиму овсянок, в усилившемся запахе тополиных почек. Ему на мгновение показалось даже, что в сосновом бору начали свое бормотание тетерева.

Тимофей поднял голову, прислушиваясь, и только те-

перь заметил, что в городе царит какое-то тревожное оживление. Тревога невольно передалась и ему; она усилилась, когда в городе забили колокола.

...Пока Тимофея не было, к нему в избу пожаловал нежданный гость. У ворот остановились сани, запряженные серыми, с голубым отливом, конями, известными всему городу.

Ольга замерла у двери, увидев входящего посадника Незду. Он окинул ее зорким взглядом, сказал ласково:

— Пришел проведать Тимофея... Что, все недужит?

Незду беспокоило долгое отсутствие Тимофея: не взбрело бы болтать в городе о поручении.

— Да... нет... — пролепетала чуть слышно Ольга, в смятении думая, что Незда пришел из-за Лаврентия.— Вышел кудась... К реке...

— Забыл Тимоша мукú-то взять — пришлю,— все с той же ласковой участливостью сказал Незда.— Не голодать же вам.

Он подошел к столу, заваленному берестяными листами, присел, не снимая собольей шапки, стал перебирать листы. И вдруг побагровел, желваки забегали на щеках. Ольга испуганно глядела на посадника. Незда читал: «Лютый глад: осьминка ржи по гривне... Люди едят мох, желуди, конину, иные древесну гниль толкнут... Трупы на улице, Торгу и путях, и всюду... Беда на всех... скорбь и тоска зрячим детей, плачущих о хлебе; богатеи же, чьи души и совесть заросли, наживаются на горе народном, тайно замышляют извести люда поболе...»

Незда резко встал. Остервенело разорвал берестяной лист, что читал, остальные начал совать за пазуху шубы. С такой силой пнул лавку, что она с грохотом повалилась на пол.



— Отплатил, нечестивец, за то, что кормил! — в бешенстве прокричал он и быстро пошел к двери.

Во дворе отрывисто и так громко, что Ольга слышала, приказал двум ожидавшим его блюстителям:

— Тимофея съскать у реки... Посадить в яму.

Отпустил сани. Грозный, налитый гневом, пошел улицей: «Сгною, дьявольское отродье, за вражьи наветы! Сгною!»

Возле Детинца Незду нагнал посланец Митрофана; задыхаясь от скорой ходьбы, сказал:

— Отец владыка... к себе кличет... Немедля!

Незда недовольно нахмурился: «Больно много старый хрыч власти взял: «Немедля! Вон и на торговлю лапу наложил, разослал приказы: «Воск и мед, и свинец, и квасцы, и ладан весить на крюк, под церковью, а таможенникам в то не вступаться...» «Немедля! Нам недолго и другого избрать. Шепну черни, и вся недолга». Но шаг ускорил.

Только войдя во владычный двор и минуя каменные поварни, питейные погреба, снова придержал шаг — не к лицу посаднику бегать. В саду притаились осыпанные снегом яблоньки и молодые тополя, шныряли зеленоватые крючконосые клещи, залетевшие сюда из леса.

Проходя владычными покоями, Незда заметил какого-то высокого человека в монашеской одежде. Тот поспешил отступить в нишу, опустил голову так, что тень закрыла его смуглое лицо. Но посадник успел узнать сузальского сотника Елисея Дубина. Незда видел его однажды во дворце у князя Всеволода, запомнил этот взгляд темных продолговатых глаз.

«Так и ведал! Старая лиса снюхалась с Юрием, сыном Всеволода,— смекнул посадник, думая о владыке.— Небось замыслил мне шею свернуть! — Он укоротил шаг, чтобы успеть обдумать важное открытие. Решил: — Случай представится — расскажу на вече об этом Елисееве, подниму всех своих».

Человек, узнанный Нездой, был действительно сотником Дубиным, которого послал к Митрофану князь Юрий спросить: «Не время ли? Поддергит ли город? Мстислав ушел на Днепр. Не время ли расправиться с непокорливым боярством?»

...Достаточно было Незде взглянуть на владыку, чтобы понять: тот чем-то очень встревожен. Белое отечное лицо его было озабочено, отвисшие синеватые мешки под глаза-

ми набрякли более обычного, властный вырез ноздрей стал резче. На владыке длинная черная ряса, пухлые пальцы его нервно сжимают посох.

— Окаянные крамольники затевают смуту бесовскую,— обратив на Незду тяжелый, давящий взгляд, сообщил он так, словно они давно уже вели разговор.— Во всех концах собирают веча — болота смрадные. Кричат, что их на Горжок хотят отправить со злым умыслом... Откуда? — со сдержанной яростью в голосе спросил он и выпрямился в кресле.— Тебя, посадник, вопрошаю: откуда ведомо им то, что тайно решали?

Незда молчал, и вдруг всплыла строчка, прочитанная только что в избе Тимофея: «Тайно замышляют извести поболе...» А и впрямь, откуда подлый Тимофеей мог проводить?

Незда вынужден был рассказать владыке о том, как поручил Тимофею вести летопись (не сказал — жизнеописание) и что из этого вышло. Он достал из кармана и протянул Митрофану берестяные листы. Владыка, кивнув посаднику, чтобы сел, начал внимательно читать. Прочитав, не торопился говорить, и Незда знал — осуждает. За все: и за то, что не сдал самое ценное из своей библиотеки в соборную, и за то, что завел своего летописца, не сказав об этом прежде...

«Довертелся, честолюбец! — зло думал владыка, поджав губы.— Погоди, чернь распластаем — не быть те более посадником».

— Яблоко от яблони далеко не упадет,— произнес Митрофан, положив руки на Тимофеевы записи.— Разве не зришь: выученик Авраамки, злейшего богохульника и подстрекалы... Только и мыслят бурю поднять от дьявола. Мне сказывали — Авраамка о монахах пакостно отзывался: что посты, мол, без добрых дел. И скот не ест мяса, не пьет хмельного, лежит на голой земле, а все же скотом остается. Каково?

— Пес и на бога брешет,— сочувственно, словно успокаивая, отзывался Незда.

Владыка так посмотрел на Незду, будто это он подсказал Аврааму ересь, сам думал с горечью: «И ведь прав богоборник Авраамка: в монастырях леность и тунеядство, за постом и святостью укрывают пакостливость и лицемerie. Везде падение».

Он сердито поерзал в кресле.

— Азбуки продают! Думаешь, спроста все это? — Он с силой ударил посохом о пол.— Для подкопа церкви! Хотят, чтоб не мы, а они, простецы, летописи составляли! Так дале пойдет — вздумают югру, чудь да голодников грамоте учить... Вместо книг духовных басни-кощуны писать...

Глаза владыки остро блеснули, он привалил к коленям посох, зло стиснул пальцы. Подумал: «На таких надо берестяные шеломы с венцами соломенными надевать, водить по городу и поджигать те венцы».

Продолжал уже спокойнее, припустив набрякшие веки:

— Мы летопись пишем, дабы не проникало зловредное, дабы служила она и после смерти нашей памятником деяний, возвращала поколения. А Тимофеям-ропотникам дай волю — об одной гили писать станут, такую скверну сотворят — ввек не расхлебаешь. Нюхнули, холопы, свободы, и голова закружилась: возмечтали о вече, что всех именных изгонит! — Он резко оборвал речь, приказал: — Ко мне в темницу его доставь!

— А я мыслил...

— Ко мне! Дедята в застенке разом язык его развязет! Возмутителей надо давить, как мышей, что точат дерево жизни.— Он замолчал, посмотрел испытующе на Незду.— Если что меж нас и было, сейчас не время розни... Не съединимся — они нас съединят... по рукам и ногам веревками... да метнут с моста. Небось не хочешь?

— Выплыvем,— самоуверенно усмехнулся Незда.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД КЛОКОЧЕТ

Слух о том, что Незда замыслил недоброе, взволновал город. Во всех концах его зазвонили сполошные колокола. Малые вечи собирались всюду, даже по дворам. Новгородцы, вооруженные кто чем мог, сбегались на площадь.

Тимофея, услышав призывы колоколов, бросился к Неревскому концу, но нездовские стражники свалили его с ног, скрутили позади руки и, забив рот кляпом, куда-то потащили. Тащили недолго — повстречали владычных слуг, и те, перехватив Тимофея, поволокли его уже сами.

Все это произошло так неожиданно, что Тимофея пришел в себя только на земляном полу выстуженной темницы, куда его с размаху бросили. Шуршали крысы в грязном сене, бесстрашно шныряли вокруг.

...Во дворе своей кузни Авраам кричал, раздавая топоры и рогатины:

— Незда замыслил предать нас, натравить на Торжок, перебить поболе!..

Толпа ревела:

— Смерть собаке!

— Он против бога и Великого Новгорода!

— В прорубь супостата!

Незда, только что возвратившийся от владыки домой, успел лишь снять с себя шубу, когда в ворота с набитыми на них бляхами из железа яростно застучали.

В гридню вбежал до полусмерти перепуганный старый слуга Онаний:

— Чернь... Несметно... Разнесут...

Он весь трясся, смотрел на господина безумными глазами. Пытался непослушными пальцами застегнуть пуговицу на кафтане.

Незда вплотную подошел к Онанию, наотмашь ударил его по лицу:

— Что трясешься, падаль? Заваливай ворота!

Крики толпы и тяжелый грохот у кованых ворот становились все громче.

Мысль Незды заработала лихорадочно. Что делать? Выйти с послами? Не поверят. Бежать? Но куда? И вдруг сразу стало легче дышать — тайный ход! Скорее кциальному ходу! А там можно, на худой конец, и к Юрию податься: мол, поддержи, милостивец... Ну да видно будет.

Тайный ход из Нездиного двора к церкви, что он построил, рыли много лет, по ночам. О ходе никто в городе не знал. Все, кто его рыл, стараниями Незды давно были уничтожены. Надо немедля спуститься в подвал, отбросить плиту и — спасен!

Он рванул дверь, ведущую в сени, и отступил: на пороге стоял кузнец Авраам с мечом в руках.

Сумрачно глядя на Незду ненавидящими глазами, спросил глухо:

— Аль не ко времени, посадничек?

Авраам шагнул в гридню, а за ним молчаливыми тенями — Потап Баан и Васька Черт. Боясь упустить Незду, они втроем перелезли через забор, убили во дворе пса, препрятавшего им путь.

Воцарилось молчание. Оно было страшнее криков и угроз.



Наконец его прервал Авраам:

— Пойдем, душегуб!

Незда побледнел. Пытаясь сохранить спокойствие, сказал:

— Нет у тебя права...

— Есть у меня полная мочь и право. Пред народом на площади ответишь,— глухо произнес кузнец.

Незда, выдавив улыбку, сказал, обращаясь не к Аврааму, а к Потапу и Ваське:

— Да кой вам расчет меня прежде времени на растерзание толпе вести? Давайте уж, коли на то пошло, я вам потайник свой с драгоценными каменьями покажу — и делу конец. Не раз помяните добрым словом своего посадника. Бог свидетель — покажу.

Широкое лицо Авраама передернулось, ноздри гневно раздулись.

— Купить хочешь?

Но Потап Баран, коренастый, медлительный, с отвисшей челюстью и застывшими зеленоватыми глазами, шагнул к Незде:

— А ну показывай свои каменья!..

— Сбежит он! — предостерегающе крикнул Авраам.

Васька Черт — черный и гибкий, как угорь,— повел хищным, горбатым носом, огладил топор:

— Далеко не убежит. Показывай!

Незда, сопровождаемый Васькой и Потапом, вышел. Авраам, недовольный тем, что не сумел отвести их от корысти, продолжал стоять посреди гридни.

Все было здесь чуждо и ненавистно ему, все было на граблено у него и у таких, как он. Злоба душила Авраама. Стиснув меч, он начал яростно кружить им лавки с резной спинкой — за все! За все! Шкафы с узорными створками — за все! За все! Словно в этом истреблении находил выход накопившему гневу.

Толпа за воротами нетерпеливо шумела, ожидая возвращения Авраама, Потапа и Васьки.

Топот и крики в дальних клетях привели Авраама в себя.

«Сбежал!» — похолодел он, кинувшись к двери.

В гридню ввалились Потап и Васька, грузно бросили на пол что-то завернутое в ковер.

Васька, оттерев пот со лба, стал возбужденно рассказывать:

— Набрехал об каменьях... Мы его как повели, а он, вихлявый, шасть по лестнице! Я — за ним! Он — к подвалу!.. Тут я его настиг и маненько обухом по затылку огладил...

Васька отвернулся от ковра. Незда лежал, скорчившись, кровь запеклась у него на затылке, с шеи свешивалась на цепочке печать посадника — лев грозно заносил лапу.

Васька снова укрыл тело. Обращаясь к Потапу, сказал:

— Бери за другой край, понесем на Волхов топить, народ порадуем!

На улице, у ворот, ношу встретили криками:

— Любил, обидитель, других топить — ноне сам поплавай!

— Рада б курица не идти, да за крыло волокут!

— Зло развел, криводушный!

Протиснулась старуха в рваной одежде, отвернув угол ковра, сказала, будто Незда мог ее слышать:

— Это бог тя наказал за внука, что ход под землей тебе рыл... — и плонула на труп

Высокий, косая сажень в плечах, новгородец, поглядев на Незду, произнес удивленно, словно про себя:

— По бороде — апостол, а по зубам — собака...

И тут же раздались голоса:

— Изберем Авраама!

— Авраама посадником!

— Авра-а-а-ама!

— Шенка Незды — в прорубь!

В открытые ворота хлынула толпа, побежала крутой дубовой лестницей, сенями, что висели в воздухе на подпорках. Лаврентия в хоромах не нашли и, переломав все, что попалось под руки, поделив меж собой запасы погребов и житниц, бросились ко дворам бояр Захара и Анастасия.

Когда Лаврентий возвратился домой, толпы уже не было. В сенях валялись в щепу разбитые лавки, осколки посуды. Под лестницей увидел переломанный посох отца с изображением его головы: казалось, Незда продолжал язвительно улыбаться, глядя на разрушение. Лаврентий сразу взмолк от страха.

Откуда-то вылез, весь в паутине и пыли, Онаний, стал рассказывать молодому господину, как потащили к рекетопить его отца, а матушку не тронули, и она склонилась у соседей; как все Нездины холопы, кроме него, Онания, попрятались, а иные вместе с татями подались в город.

Лаврентий вошел в гридиню отца. Среди разорванных долговых берест увидел одну, уцелевшую, поднял ее с пола:

«Село Овсеево — 60 белок; Мохово — 33; Васильево — 40, полоть мяса. Гришка Екуев — 3 куницы; Фока — 6 белок. Купил у Филиппа росомаху, а у Есила пять лис...»

Лаврентий спрятал расписку — пригодится. Радостно подумал: «Теперь я владелец всего... Должность отца перейдет. Главное — поживу как любо».

Отца нисколько не было жаль, при жизни его чувствовал презрение к себе и платил за то страхом и тайной неприязнью. Отец говорил с ним редко, нехотя, с пренебрежением цедя сквозь зубы.

«Ольге еще подарок сделаю,— промелькнула мысль, и Лаврентий улыбнулся: — Не пробраться ль к ней дворами? Тимофеей-то сидит, да и мне у Ольги безопасней». О том, что Тимофея схватили, слышал на улице.

Невольно вспомнил совместные с Тимофеем детские игры, бой при Отепя, заступничество Тимофея в ладье, и что-то, похожее на укор совести, шевельнулось у него в душе.

Лаврентию стало жаль Тимофея, захотелось помочь ему в беде. Но эти мимолетные чувства, скорее навеянные воспоминаниями, чем добротой сердца, вытеснил голос отца.

«Всяк человек ложь», — сказал отец и Лаврентий даже вздрогнул, оглянулся. Нет, он был один.

«А я чем лучше других? — мысленно успокоил себя Лаврентий. — Какое мне дело до Тимофея, до всех на свете? Лишь бы мне хорошо было».

Лаврентий заторопился, достал из потайного шкафа в стене отцовской гридни ларчик с драгоценностями (боялся оставить его здесь: «Еще возвратятся»), окутал тряпьем. «От Ольги, как стемнеет, пойду в сад владычный, закопаю там ларь на время». За пазуху он сунул материнское золотое оплечье. Подумал о Тимофееве: «Пусть посидит. Когда выпустят, я ему денег дам. Небось обрадуется».

А толпы, как весенние реки в Ильмень, все стекались теперь на Торговую площадь.

Балом валили бронники, мостники, ладейники, каменосечцы, воскобойники, тесляры.

Без устали звали сполошные колокола. Вооруженные острогами и топорами, прибежали смерды из пригорода: с деревни Горки, из сел Лисичьего, Медведево, с Черного Бора, из-под Нередицкого монастыря, с Березовского погоста.

Мятежные стяги, сбирая люд, заколыхались над площадью.

Ракомские смерды, прежде чем уйти в город, порешили злобного своего старосту, принесли его голову в мешке.

Простолюдины, с которых данщики брали куны, поборы белками и мукой, кинулись на площадь искать правду.

Общинник бежал рядом с кузнецом и плотником. Поднялась встань народная — люд меньший пошел против больших!

На дворе стояло семь погод: сяяло, веяло, крутило, мутило, рвало, то сверху лило, то снизу мело. Не поймешь — зима ли, весна ли, осень? Дважды лед на Волхове трогался и снова застывал.

...Владыка приказал собрать на Софийское вече именных людей и свой полк. С помоста уже кричал тысяцкий Милонег, и на худой его шее бились набухшие ненавистью жилы:



— Холоп пошел на господина! Поодиночке крамольники всех нас передушат. Чернь усмирят только меч!

В Милонега полетело несколько шапок с каменьями, но гильщиков здесь же быстро скрутили.

До Тимофея доносились какие-то неясные крики, однако он не мог понять, что происходит.

— Молю тя, господи,— шептал он истово,— молю: заступись, накажи беззаконников, собирающих богатство! Неужто может кривда правду осилить?

Но молитва не приносила облегчения, невольно приходили злые мысли: «Может, может, коли неправедные правители сотворяют лютые обиды над меньшими!»

Он вспомнил все то, что слышал на Тайном совете, перед его глазами встали должник, которого тащили по улице на расправу, женщина, покорно лежащая на снегу, и он с новой силой обратился к богу:

— Осуди, господи, богатых за их великие неправды, воздай месть на Страшном и справедливом суде твоем!



Словно в ответ на этот страстный призыв заскрежетал засов дверей, и на пороге, загораживая свет, выросла огромная фигура.

— Выходи, голуба! — прорычал кто-то и захочотал.

Тимофея поднялся. Перед ним стоял, широко расставив ноги, палач владыки — одноглазый Дедята Нечистый.

Тимофея повели владычным двором мимо свечной мастерской, и сердце его сжалось от страшного предчувствия: не в Чертову ли башню ведут, где (об этом новгородцы говорили шепотом) пол усеян черепами и костями забуяненных?

Долго шли каким-то подземным ходом, пока не очутились у судебной избы — Одрины, что уединенно стояла в дальнем углу двора, окруженная бревенчатым забором.

Над дверью Одрины написан лик спасителя. Он держал в руках книгу, открытую на словах: «Праведным судом судите, судитесь и Вам».

Тимофей переступил порог Одрины.

За длинным столом, покрытым темным сукном, сидел сам владыка, рядом с ним — подслеповатый дьяк, а сбоку

зачинивал лебединое перо молодой быстроглазый подъячий с едва пробивающимися светлыми усиками над верхней губой.

Через окна в толстых переплетах свет почти не проникал.

— Дело твое, богоотступное, дерзостное, решать будем,—тихо произнес владыка, не поднимая глаз от берестяных листов, что лежали возле его пухлых пальцев на столе.

Тимофей похолодел, узнав свои записи.

НЕЖДАННЫЙ ДРУГ

Очнулся Кулотка оттого, что чьи-то проворные, заботливые руки растирали его тело. Он лежал в землянке на оленьей шкуре. Сквозь окна со вставленными тонкими льдинками пробивалась сероватая мгла. Над Кулоткой склонилось удивительно знакомое нерусское лицо — круглое, с глазами немного вкось. «Да это же югор, что с чадом своим в лес побежал, когда я Дробилу стукнул», — сообразил Кулотка. Маленький югор жестами, то приседая, то что-то гортанно выкрикивая, объяснял Кулотке, как долго шел следом за ним, охраняя от бед, подбрасывая убитых зверьков, как, увида прыгнувшую на Кулотку рысь, пустил в нее стрелу и поспешил на помощь, когда богатырь стал тонуть.

— За добро — два добра, — говорил югор на своем языке, и Кулотка, не понимая точно смысла этих слов, догадывался, что они сердечные.

А югор продолжал рассказывать жестами, что Дробила и его ватажники уже отправились на тот свет (правда, не сообщил, что их заманили к себе югры, пообещав горностаев, и ночью перебили всех).

Кулотка поправлялся медленно. Пумга (так звали этого маленького жителя Югры) ухаживал за ним, как за ребенком. Лечил потрескавшиеся, кровоточащие десны, мазал каким-то вонючим раствором черные раны на щеках, растирал опухоли под коленями, давал пить горькую настойку. И все это с добной улыбкой черных глаз, блестящих, как кожа тюленя, вынырнувшего из воды.

Когда Кулотка впервые поднялся, они сели в землянке рядом у огня. Пумга настругивал мерзлую рыбу. Кулотка

делал силки. Ему очень захотелось рассказать Пумге о Тимофееве. Он встал, соображая, как бы это сделать понятнее, показал рукой на себя, на Пумгу, обнял его и махнул рукой в сторону Новгорода.

— Понимаешь? Дружок у меня там! Тимоша! — крикнул Кулотка Пумге в самое ухо, словно он от этого должен был лучше понять.

Пумга с минуту озадаченно глядел на Кулотку, потом лицо его прояснилось, он тоже обнял Кулотку и, крикнув: «Тумоша!», стал нежно гладить себя по щекам, приседая, подпрыгивая, танцем показывая, что понял Кулотку: эта самая Тумоша — его возлюбленная, и, когда Кулотка выздоровеет, непременно состоится свадьба. Вполне довольные объяснением, они продолжали свою работу.

Глядя на Пумгу, Кулотка думал: «Разве ж он дикий! Людин как людин, не хуже любого новгородца».

Были у югра и смешные обычай. Так однажды Пумга осторожно выкопал из земли лапу медведя; бережно держа ее перед собой, стал объяснять Кулотке, что лапа эта охраняет его, Пумгу, от бед. А потом откуда-то привел прирученного медвежонка и, смешно, заискивающе кланяясь ему, как иконе, забормотал непонятное. Медвежонок добро урчал, тыкался мокрым носом в колени Пумги.

Кулотка, глядя на них, улыбался; кивнув в сторону медвежонка, добродушно посоветовал Пумге:

— Богу молись, а к берегу сам гребись.

Пумга радостно закивал головой, словно принимал совет.

Подняв Кулотку на ноги, Пумга стал обучать его языку тайги и тундры: как находить дорогу по сугробам-застрюжинам, что оставляет ветер; как делать костры из сухого мха, расставлять ловушки-пасти для зверья, ивовые плетни для рыбы, сохранять ее в ямах; как различать след горностая и ловко снимать шкуру песца.

Когда все эти премудрости были постигнуты Кулоткой, Пумга повел его в самые обильные пушным зверем места осматривать ловушки. Он ругался и тряс кулаками, обнаружив у одной из них обглоданные росомахой кости соболя, а первого же вынутого из пасти серебристого песца подарил Кулотке со словами:

— Твой... твой... скоро сам добудешь.

За несколько месяцев, что пробыл Кулотка у Пумги, он научился понимать его речь и, усмехаясь, говорил: «Не та-

кой я, выходит, бестолковый, как наговаривал на себя Тимофею. Верно, от сполохов у меня в мозгах посветлело».

Застенчиво улыбаясь, Пумга называл его Гульоткой, и в тоне его чувствовалась привязанность к новгородцу, верность ему и гордость за возникшую дружбу.

Пумга любил петь своему другу низким, гортанным голосом о долгом пути в звездную ночь, о песцах, что тякают на рассвете, о бивнях древних мамонтов, воинственно торчащих меж ледяных глыб, о маленьком сыне своем Уйгане, которого спас богатырь Гульотка.

И Кулотка тоже ревел медведем:

Ходит синий вал
По Ильмень-озеру,
Ходит синий вал
По чисту Волхову...

Пумга слушал внимательно, в такт песне покачивал головой в меховой шапке.

Кулотка привязался к Пумге, но, когда пришла северная весна, с ее словно вновь родившимся солнцем, с чернеющими оттаявшими камнями, меж которых победно проступали камнеломки, со снежными жаворонками, что бредили сердце своим пением, Кулотка затосковал. С непривычной для него нежностью замечал он беготню проворных белых пурпурочек, похожих на снежки, синие тени на тающем льду, прислушивался к перекличке токующих куличков, и его неудержимо потянуло к родному городу.

Но только поздней осенью, когда Кулотка окончательно окреп, Пумга согласился отпустить его. Сам снарядил, дал в запас рубаху из шкуры молодого оленя, заячий носки, повез Кулотку в своей осиновой лодке-обласе. Они долго обнимались, прощаясь, и Кулотка двинулся к дому один с заплечной сумкой, набитой богатой добычей.

Он так ясно представлял себе встречу с Настенькой: радость в ее бирюзовых глазах под короткими бровками, ее круглое с золотистым пушком лицо, как скажет ей: «А я тебе подарки пустяшные привез, вот...» Он так ясно представлял себе все это, что ноги сами несли его к дому.

На своем пути Кулотка часто встречал холмики подтаявших льдин, среди которых водружены были кресты из лыж. «Верно, наши погибли,— думал он горестно.— Сколь безымянных храбров сложило головы в суровом крае!»

Однако эти печальные мысли скоро снова сменялись

мыслями о встрече с Настенькой. Она улыбнется ему, а он спросит: «Отгадай, что это: около прорубки стоят белы голубки?» И она догадается, застенчиво прильнет к нему.

Ведь вот чудо: когда бы ни думал он о Настеньке, в сердце его не закрадывалось и тени недоверия или сомнения. Он верил каждому ее слову, знал, что всегда она сумеет постоять за себя, не уронит ни своей, ни его чести. Верил, что будет Настенька опорой и радостью, той единственной и желанной на свете, что украсит жизнь, придаст ей особый смысл.

Рядом с ней и сам он будет лучше, чтобы гордилась Настенька им, проведя легкой, теплой ладонью по его волосам, сказала: «Дитятко ты мое разумное».

И впрямь почувствует он себя дитяткой, уткнется лицом в ее плечо, станет покорным и ласковым.

А Настенька в один из таких вечеров, когда мечтал о ней в пути Кулотка, стыдливо шептала Ольге, сидя с ней на лавке возле Тимофеевой избы:

— Сказали б мне: «Выбирай, что хочешь,— аль на часок один увидеть своего Кулотку, аль золата дадим тебе весом с него». Я б, и миг не думая, решила: «Не надобно мне золата ващего, пускай Кулотка предо мной предстанет».

Ольга посмотрела на нее изумленно, неожиданно для самой себя прошептала страстно:

— Думаешь, я совсем пустошна? Мыслю легко: помани — побегу? Так думаешь?

Настя замотала отрицательно головой, испуганно поглядела на подругу.

— Я себе цену знаю! — гордо произнесла Ольга и вздернула маленький нос.— И хочу сильно любить... И власть его чують... И чтоб он без меня, как без воздуха... А я б ему — и ласку и заботу... Веришь? — Она судорожно вцепилась в рукав подруги, приблизила к ней свое лицо.

— Да как же иначе! — искренне удивилась Настя.— Так и надобно.

Ольга доверчиво прижалась к ней.

...Месяц за месяцем пробивался Кулотка к дому, снова терпя лишения и невзгоды. Чем ближе к Новгороду, тем старательнее обходил он людные места, зная, что всюду рыщут наймиты Незды и Милонега: подпоив добытчиков, грабят их.

Но вот наступил и долгожданный день встречи с любимым городом!

Кулотка вошел в него в тот час, когда голь стекалась на Торговую сторону. Вместе со всеми побежал и он на площадь. Круглоликие близнецы Прокша и Павша встретили его радостными возгласами:

— Здоров, Кулотка!

— Вовремя подоспел!

Они рассматривали его, словно не верили своим глазам.

— Ты чё такой бурый да тощий?

— А Тимофея нашего бросили в поруб на владычном дворе!

— За что? Когда? — рванулся Кулотка.

— За правду!

— Сегодня схватили...

Кулотка забыл обо всем на свете: о том, что мечтал переступить порог отчего дома, обнять отца с матерью, тотчас повидать Настасью, о том, что у него драгоценные шкурки за плечами, что устал. Тимофея попал в беду, и его надо было выручать.

И Кулотка закричал во всю силу легких:

— Братаны! Пробьемся к порубу! Вырушим Тимофея!

— Пробьемся! Вырушим! — с готовностью подхватили десятки голосов.

— Какой Тимофеей-то? — на бегу, туже подтягивая веревку на рваном кожухе, спрашивал возчик Гостята у гончара с Рогатинской улицы.

— Да с Холопьей... Наш грамотник!

— Поддай! — закричал Гостята, словно только и ждал этого ответа, и побежал еще быстрее.

ВСТАНЬ НОВГОРОДСКАЯ

Владыка медленно поднял на Тимофея острые глаза.

Изможденный, с еще более ввалившимися щеками, Тимофея стоял перед ним уже более получаса, сжав губы и только поглядывая исподлобья, когда владыка предлагал покаяться, рассказать о единомышленниках, дать клятву не писать более так, как писал.

— Смири гордыню,— глухо увершевал владыка, не отводя сурогого взгляда от лица Тимофея,— повинись — и избегнешь огня будущего...

Дедята Нечистый раздувая горн в углу избы, накалял невиданной формы плотно сжимающиеся клещи. Шум за

стенами избы становился все громче, походил на рокот Волхова. Откуда-то из-под пола раздавались приглушенные стоны.

«Все едино не повредить вам душу мою, писать стану одну правду! — мысленно давал клятву Тимофеи.— Правду не выжжешь огнем, не устрашишь пыткой... Пальцы отрубите — зубами писать стану, кровью из ран! Что за птица без крыл, рыба без плавников? И если дан мне природой голос, как не петь правдивую песню?»

— Поклянись! Ты млад, и я прошу, сделаю соборным летописцем,— вкрадывался в душу голос владыки.

Тимофеи метнул на него хмурый взгляд: «Хочешь посадить в золотую клетку и заставить каркать по-вороньи?»

Стенания под полом стали явственней.

— Ради господа... помилуй мя... ради господа...— слышалось оттуда.

Тимофеи впервые разжал губы:

— Одну правду писать буду!

Владыка резко поднялся, лицо его покрылось пятнами, в уголках губ выступила пена.

— Знаю твою правду, ехидново исчадье! Не писать тебе боле вовсе! — протолкнул Митрофан сквозь стиснутые зубы и, выйдя из-за стола, тихо приказал Дедяте: — Обезручь! — Быстрым шагом пересек избу, скрылся за дверью.

На Торговой площади люд кричал, видя, как собираются недруги на Софийской стороне:

— Мост разломать!

— Взять их на щит!

— Душат гладом! На щит!

— Хлеб сеем, а мякину жуем.

— Продают нас за ногату!¹

Костлявый новгородец — должник, которого недавно на глазах Тимофея тащили к боярину,— взобравшись на бочку, рывком разодрал на себе рубаху, показывая исполосованную, впалую грудь, кричал:

— Понатерпелись, буде!

— Буде! — свирепо сверкнул огромными очами обросший темной щетиной Игнат Лихой.— Кузнец Авраам — наш посадник! Мы — Новгород — избирает!

¹ Ногата — мелкая монета.

— Авраама! — подхватили тысячи голосов.— Новгород избирает!

Кузнеца подняли, передавая из рук в руки, поставили на помост. Авраам обвел площадь затуманными от волнения глазами. «Не подведу ни в чем, послужу, как совесть прикажет»,— обещали они.

Авраам низко поклонился, зычно сказал:

— Благодарю на чести, Господин Великий Новгород!

Потом выпрямился. Подняв над головой меч, крикнул, сбегая со ступени:

— Вперед! На мост!

За ним ринулись все, кто на площади.

И на Софийской стороне, увидя эту движущуюся толпу, рванулись к мосту, словно желая первыми перебежать его.

Они сшиблись посредине, как две волны.

Летели камни и гири, били по головам молоты и топоры, вгрызались в самую гущу мечи и рогатины. Крики, стоны, вопли, лязг оружия разнеслись далеко по городу. Рвавые снежные тучи, обагренные лучами заходящего солнца, повисли над мостом, казалось, окропляли его кровью.

То одна, то другая волна наступала и отступала. Боярские жены, подхватив добро и детей, прятались в подвалы — тряслась в страхе Прусская улица!

Сеча шла не только на мосту, но и под ним, на уже ненадежном льду, на берегу под стенами Детинца.

То и дело с моста падали сброшенные тела, пробивая лед, шли ко дну. Игнат Лихой, падая, зацепился армяком за выступ сваи, повис надо льдом. Милонег, крякнув, всадил в его спину меч. Иные, сброшенные с моста, прия в себя, снова лезли по сваям вверх, в гущу драки.

Кулотка, взяв обеими руками свинцовую булаву, отнятую у боярского сына Нестряты, крушил ею направо и налево. Лицо его, опаленное северным снегом, обрамленное густой курчавой бородкой, казалось бронзовым. В пылу сражения он не почувствовал, как чей-то меч случайно срезал у него на спине мешок со шкурками, и они полетели под ноги дерущихся. Наоборот, ощутив неожиданное облегчение, Кулотка с еще более веселой яростью прокладывал себе путь.

Торговая сторона явно теснила Софийскую. И тогда вдруг, словно какой-то успокоительный ветер прошел по мосту, руки, поднятые для удара, стали опускаться, сверша крестное знамение.



*Кулотка, взяв обеими руками свинцовую булаву, крушил ею
направо и налево.*

— Владыка, владыка! — пронеслось в толпе.

Он спустился с Епископской улицы и, не торопясь, шел посередине моста. Впереди архимандрит и игумен несли чудный крест и образ святой Софии — белого крылатого ангела под сияющей звездой. Они подносили крест и образ к губам остывающих от битвы воев и шествовали дальше.

— Дети мои! — говорил владыка, умиротворяюще поднимая десницу. — Не соступайтесь на бой! Примирайтесь! Господь против кровопролития...

— Не верьте ему! — раздался одинокий голос Авраама и замер, будто повис в воздухе.

Привычная сила повиновения была столь велика, что враждующие волны отхлынули друг от друга.

И в это время в тыл черни ударили владычный полк. Он появился с развернутым знаменем, как на поле боя, обрушился всей силой своей на чернь. В первое мгновение она растерялась, заметалась меж двух стен. Но замешательство продолжалось недолго. Измена удесятерила силы. Все руша на своем пути, восставший люд стал еще упорнее пробиваться через мост, к владыке. Защищенный стеной воев, Митрофан уже успел возвратиться на Софийскую сторону и, стоя у Пречистенских въездных ворот Детинца, возле вековой сосны, наблюдал за продолжением боя, всем видом своим показывая, что бессенлен как-либо унять враждущих и то, что произошло, от него не зависит.

Но вот он встревожился, лицо его побледнело: на владычный полк напали свежие силы мятежников, теперь полк дрогнул и побежал.

А по мосту упорно пробивались все ближе и ближе к владыке Авраам, Кулотка, Прокша и Павша. Распаленный Кулотка показался владыке самим сатаной.

Митрофан услышал его крик: «Ждешь, кроволитец?!» — и, подхватив ризу, старчески перебирая тонкими ногами, засеменил к открытым дверям Софийского собора.

...На Волхове меж льдин плавали трупы. Черные волны жадно заглатывали их.

Покрывая голосом шум сражения, кричал Кулотка:

— Нажми, голота, руби змеюк! Чай, не блох чесать! Нажми!

Дедята Нечистый подошел вплотную к Тимофею, держа в руках раскаленные клещи. Тимофей невольно отступил.

— И не таких укорачивали, — упервшись единственным, свирепым оком в Тимофея, прохрипел Дедята и вдруг схватил его клещами за кисть правой руки.

Раздался круст расплющенных пальцев, нечеловеческий крик, запахло паленым мясом.

Тимофея побледнел и, потеряв сознание, рухнул на земляной пол.

Дедята презрительно поглядел на неподвижное тело, сплюнул:

— Кончился летописец.

Тимофея пошевелился. Дедята взял в углу ведро, наполненное водой, с силой окатил Тимофея. Тот приподнялся на левой руке, оглядел избу мутными глазами. Темные волосы прилипли к его лбу, с них на потрескавшиеся губы стекала вода.

— Занеможил, птаха? — поднимая его с пола за цепочку нательного креста, с напускной участливостью спросил Дедята и, встряхнув, свирепо закричал: — Станешь, как прежде, писать?

Тимофея бесстрашно глядя на мучителя, сказал хрипло:

— Не заставишь накриве... Как прежде буду...

— Брешешь, кончился летописец! — зарычал Нечистый и уже остывшими клещами потянулся к кисти левой руки Тимофея.

Он не успел дотянуться — с грохотом распахнулась окованная дверь избы, и на пороге ее появился Кулотка. Зипун висел на нем клочьями, лицо было в кровоподтеках, светлые кудри колтуном скатались на голове.

Кулотка с порога прыгнул на Дедяту, но тот, отбросив клещи, выхватил из-за голенища нож и всадил его по рукоять в грудь Кулотки. Кулотка упал на палача, придавив его своим телом. Железные пальцы его дотянулись до горла Дедяты и разжались только тогда, когда Нечистый омертвело выпрямился.



Тимофея бросился к Кулотке. У него хватило сил вытащить нож из груди мертвого друга, и он снова потерял сознание.

Изба наполнилась новгородцами, пробившимися через мост. Авраам склонился над Тимофеем, обмотал искалеченную руку тряпкой, Павша и Прокша поднесли к губам Тимофея склянку с вином, добытую у Милонега. В избу вбежала маленькая, похожая на девочку, Настасья.

Услышав, что Кулотка появился в городе, она, схватив острогу, устремилась к мосту — где же еще ему быть! И там, увидя его впереди, стала пробираться к нему. Но ее все оттирали, и она упустила его из виду. Сейчас, вбежав в избу, Настасья остановилась, как в столбняке, с ужасом уставилась на Кулотку. Он лежал на спине спокойно, словно на время уснул, только впадины глаз пугающе окаменели.

Настасья с рыданием бросилась к нему на грудь; никого не стыдясь, закричала:

— Суженый мой! Очнись, суженый мой!

Прижимая к груди искаченную руку, пошатываясь, Тимофея вышел из Одрины на владычный двор. Несколько приступал в темноте Софийский собор.

«За белыми стенами — черные души! — с ненавистью поглядел на него Тимофея.—Кто, как не вы, подослали убийц к моему отцу!»

Тимофея долго брел домой.

По улицам еще метались в ночи смоляные факелы.

Бой затих, и только кое-где, как перекличка, слышались в темноте гулкие от близости Волхова голоса:

— Владыка-то сбег из города.

— Утек, подлюка... Житницы с собой не унес...

— А Нездина щенка давень за город вывели, ларь какой-то отняли, пинок дали — не попадайся боле!

— Рыло-то ему ктой-то отменно расписал!

— Эх, в монастырях знатно порастясли боярское добро!

— А чё горит?

— Хоромы Незды и Милонега...

Все это происходило где-то рядом с Тимофеем, глубоко не задевая его сознания.

На Торговой стороне полыхали дома. Огромные языки

пламени взметались к небу, зловещие отсветы их недобро играли на мрачной воде Волхова.

Но Тимофей шел словно в черном непроницаемом тумане, ничего не видя. Нет Кулотки, нет... И как теперь без руки писать?

Валил мокрый снег. Багровые искры пожара сплетались с хлопьями снега, казалось, мела невиданная пурга. Одежда прилипла к телу Тимофея, мучительно болела рука. Он ткнул ногой дверь своей избы. Одиноким огоньком горела, потрескивая, луцина. Ольги не было.

«Верно, у соседей,— подумал Тимофей и невольно вспомнил то, что говорил о ней когда-то Авраам. Гнев снова захлестнул его: — Лжа! Не могла Ольга изменить! Затравить меня хотите! Лжа!»

Он стал на колени возле лавки, положил голову на шкуру, прошептал нежно:

— Поклеп не коснется тебя, люба моя! Не бойся, не коснется.

В памяти неожиданно возник разговор об Ольге с Авраамом. Отгоняя его прочь, Тимофей успокаивал себя мысленно: «Не все след принимать, что по реке плывет, не всему верить, о чем люди говорят».

Он вспомнил вишневые косточки, что сбирала Ольга в ладошку в темноте.

— Нет, нет ее провинки! Изолгали!

И вдруг почувствовал что-то твердое под щекой. Увидел на шкуре нож Лаврентия, оброненный им, тот поясной нож с черенком в серебре, что подарил ему когда-то в ладье, после боя у Отепя.

Тимофей задохнулся. Казалось, сердце остановилось. Он схватил здоровой рукой этот нож, как змею, глядел на него с ужасом и ненавистью. Рыдания подкатили к горлу, все тело его содрогалось.

С бешенством швырнул он нож, и тот вонзился в пол у порога.

А подлая память услужливо подсунула: река... и он с Ольгой, и ее ответ: «Сила». Всплыло жирное лицо Лаврентия: «И это сила?» И еще... как-то Ольга сказала о Настасье: «Ну чего она ждет Кулотку? Слова не давала, а девичье дорогое время теряет». Тимофей тогда впервые закричал на нее: «Да ты смыслишь, что говоришь?!»

Ольга прижалась к нему, заласкалась: «Пошутила я, пошутила... Ну что ты все к сердцу так близко берешь?»

Нет, не шутила она, просто вырвалась муть из глубины души. Как мог он жить столько под одной кровлей, не ведая, кого пригрел?

С полки свешивалась плеть, когда-то врученная ему отцом Ольги. Исполосовать? Или притвориться слепцом? Будто ничего не увидел, не понял?

Он застонал от боли:

— Нет, не могу! Вырвать из сердца! Или задушить своими руками!

Тимофей заскрипел зубами, сердце раздирила боль, она была сильнее, чем боль в руке.

В сенях стукнула дверь, и на пороге появилась запыхавшаяся, порозовевшая от быстрой ходьбы Ольга, воскликнула радостно:

— Выпустили?

И нежданно в глубине души его пробилась робкая надежда: «Сейчас прояснится... Ничего не было... все по-старому». Это возникло как мольба к жизни — пощадить его хотя бы здесь.

Ольга хотела броситься к Тимофею, но, увидя выражение его лица, налившиеся кровью глаза, кулышку руки с окровавленной тряпкой, нож у порога, смертельно побледневла.

От страха лицо ее стало некрасивым, она рухнула на колени, завыла:

— Нет вины моей!.. Нет!.. Прости!

В неистовстве Тимофей подбежал к ней, схватил за руку так, что Ольга вскрикнула.

— Что, что простить?

Она закрыла глаза, готовая на смерть, на побои. Тимофей гадливо отшвырнул Ольгу от себя, приглушенно стена, выбежал на улицу.

Ольга продолжала лежать ничком на полу. Что могла она сделать? Как доказать, что ничего не было, когда кругом виновата? Принимала подарки, скрытничала...

И сегодня Лаврентий пришел под вечер — она только зажгла луchinу,— сразу показался ей каким-то странным, взъерошенным.

Поставил на стол тяжелый ларь; отбросив крышку его, прошептал, ликуя:

— Гляди!

В ларе навалом ожерелья, кресты, перстни, браслеты, золотые с эмалью колты и камни, камни... От их ослепительного сияния Ольга даже глаза зажмурила, а когда открыла — невольно залюбовалась чудной игрой лучей.

Лаврентий же, довольный произведенным впечатлением, ближе пододвинул к ней ларь:

— Да ты погляди! Захочешь — все твоим станет! Погляди!

Она отстранилась, строго сказала:

— Не надо! Ты уходи! — Не хотела и разглядывать все это, когда Тимофея в беде.— Уходи!

Но Лаврентий протянул ей золотое оплечье:

— Да ты только примерь! Ну чего боишься? Примерь скорее!

Оплечье красоты невиданной: на золотых пластинах, нежно раскрашенных по эмали в изумруд и синь, сидели птицы у древа жизни.

Рука Ольги невольно потянулась приложить оплечье к груди, полюбоваться, как станет выглядеть.

И вдруг Лаврентий приблизился к ней. Рот слюнявый, расквашенный, глаза юродивого...

Она задохнулась от неожиданности, гадливости, ударила его по лицу ожерельем, убежала, плача, к соседям, рассказала им обо всем... И вот эта страшная встреча с Тимофеем...

Да, он вправе, вправе не верить ей, подлой!

Ольга уткнулась лицом в пол и зарыдала.

Только теперь она поняла, как свята и верна Тимофеева любовь, как не ценила она ее... Пусть он безмолвник, а кому она, Ольга, более чем ему, надобна?

Она вспомнила его жениховский подарок — заставку, что с таким пренебрежением сунула за божницу, и сердце заныло еще сильнее: не умела ценить, ни во что ставила его...

А теперь не поверит... Лучше б убил или хоть ударил — легче б стало.

Как, как убедить его, что соблюла верность? Может, пойти к владыке, броситься в ноги и признаться во всем, чтобы наказал ее, но и вернул Тимофея? Может, пойти к отцу и повиниться, что не дорожила мужем, что в голове дурь сидела, и пусть он, отец, накажет ее? Или на улице пасть к ногам Тимофея, обхватить их и не выпускать, пока не поверит?

Ей на секунду представилось: никогда больше не будет Тимофеем, как голубь-бормотун, шептать ей слова откровений, и станет она ему чужой-чужениной, неверной, брошенной женой.

— Не могу без тебя — в петлю кинусь! — крикнула она при мысли об этом бедстве и громко, жалобно заголосила, омывая слезами душу: — Тимоша, за что ты... Тимоша...

На улице Тимофея обступила темень. Где-то недалеко громыхал гром. Продолжал идти липкий снег.

Сердечная боль погнала Тимофея к дубу над Волховом. Гроза приближалась. Это была та необыкновенная зимняя гроза, о которой потом еще долго с недоумением упоминали летописцы.

Вспышки молний следовали одна за другой, и тогда видно было, как внизу, в проломах льда, бурлили и метались черные волны, тянулись к черному небу.

С непокрытой поседевшей головой стоял Тимофеем у дуба, напряженно глядываясь в пляшущие волны, будто силья рассмотреть в них что-то.

С раздирающим уши треском ударила молния в дуб, возле которого стоял Тимофеем, опалила дерево.

— Почему не в меня, почему не в меня? — как в бреду, вопрошал Тимофеем темноту.

Он шагнул к обрыву. Ему почудилось: волны теперь тянутся к нему, зовут его. Снова к измученному сердцу прихлынуло все: коварство Незды... владыка, что толкал колжи... пытки... гибель Кулотки... предательство Лаврентия... и Ольга... Не во что верить... нечего ждать...

На мгновение в обезумевшей голове мелькнула больная мысль: «Все кончено, затравили, растоптали, к чему противиться?»

Небо снова прорезала молния. Опаленный дуб продолжал гордо стоять над обрывом, воздевая черные ветви к небу, будто угрожая ему.

Пальцы левой руки Тимофея случайно коснулись костяного стержня для письма, что неразлучно висел у пояса. Казалось, стержень напомнил о себе, и Тимофеем нежно погладил его.

«Лживите, не кончился летописец Тимофеем, еще не все вы у меня отняли! — Он до боли сжал зубы.— Когда пла-

вят, зерна железа слипаются в крицу... Где взять сердцу твердость, как стеснить его в крицу?»

Тимофей снова нежно прикоснулся здоровой рукой к костянику стержню:

«Нет, верю в правду... в честных, простых людинах...»

Он медленно повернулся спиной к Волхову и пошел к избе Авраама.

Навстречу бежала простоволосая женщина, кричала горестно:

— Тимофей, Тимоша!

«Олењка!» — радостно дрогнуло сердце, и, повинувшись только ему, Тимофей бросился к Ольге, прижал ее к себе, целуя мокрые, соленые от слез щеки, забормотал, успокаивая:

— Не надо, Олюня, не надо... верю... Хоть весь свет... верю...

По небу разметалось гневное зарево пожара. Пламя бушевало теперь на вечевой площади, перекинулось к Великому ряду, охватило Нутную улицу, пробиралось по мосту к Софийской стороне. Горящие головни осыпали крыши домов.

Над городом кружила красная метель.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как-то был я на раскопках древнего Новгорода.

Ученые-археологи и сотни их помощников откапывали перекресток Холопьей и Великой улиц.

Перед нами возникали остатки усадеб, построек, древние мостовые. Земля заботливо сберегла следы родной старины: мастерскую кузнеца и детские костяные коньки, стремена и посох с вырезанной мужской головой, сапожные колодки и глиняные тиглы с прикипевшей бронзой... Но ни с чем не сравнимую радость приносили найденные грамоты на бересте: с помощью этих грамот древний Новгород заговорил с нами десятками голосов.

Грамоты, часто похожие на свернутые кольца из коры, как величайшую драгоценность, доставляли в лабораторию, построенную здесь же, возле раскопок, промывали горячей водой, осторожно расправляли, высушивали, чтобы затем разобрать, о чем в них поведали нам новгородцы.

Вот в одной усадьбе найдено одиннадцать грамот, написанных каким-то мальчиком Онфимом. Эту находку ученые назвали «Архивом школьника». Онфим жил в одно время с Тимофеем.

На одной широкой полоске он процрапал: «Поклон от Онфима», на другой нарисовал человечков — толстого и тощего, на третьей опять проступают буквы.

Кто обучал Онфима? Может быть, Тимофеем? Может быть, Онфим и есть тот мальчионка, с которым передавал Тимофеем письмо Аврааму?

Все новые и новые «древние письма» находят ученые — сотни грамот! А сколько их еще хранит земля! Кто знает...

Не хотелось уходить из лаборатории. Но что это проступает на бересте? «У попа... два горшка масла, а у Нездыле...»

Нездыля? Да не родич ли это посадника Незды? Я волнуюсь все больше, и волнение усиливается с каждой вновь найденной грамотой: а вдруг разыщут Тимофеево «Слово»?

Страстно, всем сердцем верю: правдивая летопись, написанная неподкупным Тимофеем, лежит где-то в земле, ждет своего открывателя, притаилась на бересте.

И когда найдут наконец и прочтут эту летопись, еще ближе и дороже станет нам Тимофеем с Холопьей улицы.

Ханский ярлык





Град сей славен будет
во всех градах русских,
и взыдут руки его
на плеща врага его.

(Из летописи)

ВОССТАНИЕ В ТВЕРИ

По широкой главной улице Твери в город въезжал с отрядом сильным двоюродный брат хана Узбека — баскак Чолхан Дедентьевич.

Вороной конь его с белым пятном на лбу грыз удила, косил по сторонам.

На Чолхане белый шелковый халат, островерхая шапка из войлока. Злое лицо его с черной бородой, черными редкими усами, сабельным шрамом на смуглой щеке надменно окаменело.

Тверичане, стоя у ворот своих дворов, хмуро глядят на пришельцев: скуласты, недобры их лица, непонятна, ненавистна речь.

О Чолхане, внуке хана Менгү-Теміра, слышали — безжалостен: чтобы доказать свою верность Узбеку, убил сына родного. Да и по обличью сразу видно — кроволитец.

Позади Чолхана едут богатые всадники в синих, красных халатах, войлочных белых шапках, а дальше растянулся отряд. На кого ни глянь — рыскают свирепые, как у голодных волков, глаза.

У дворов бормочут:

- Ишь пузы наели на хлебах наших...
- Оголодали, нехристи, русскую землю...
- Щелканья стая...

Востроносенький мальчионка лет восьми — Матвея кольчужника сын, Петянька,— привлеченный яркими халатами, побежал возле отряда. Татарин с урезанным ухом хлестнул малыша плетью через плечо. Петянька залился кровью, упал в пыль. Мать подбежала к нему. Укрывая своим телом, закричала бесстрашно:

— Не смеешь, басурман, дитё бить, не смеешь!

Татарин и ее хлестнул раз, другой. Лицо его перекосилось от злобы:

— На колени, помет собачий! Не сметь на могучего хана глядеть, на колени!

Заставив женщину пригнуться, он поскакал вдогонку отряду. Залаяла вслед собачонка. Всадник на ходу пустил в нее стрелу, пригвоздил к земле.

Почти все тверичане спрятались, притаились, над городом нависла зловещая тишина.

Едет главной улицей Твери отряд Чолхана Дедентьевича.

На краю площади, возле избы, стоят юноша с девушкой, смотрят на татар с любопытством и испугом. Через три дня свадьба назначена. Как же теперь?.. Молодой всадник с широким вдавленным носом, хищно изогнувшись, метнул аркан. Петля захлестнула шею девушки, приглушила ее вскрик. Всадник подтянул по земле девушку к себе, забил кляпом ей рот, поволок за конем. Все это произошло так мгновенно, что жених оцепенел. А придя в себя, бросился на защиту невесты. Но десяток злодеев наскочили на него, стали топтать конями, рубить саблями и, оставив позади себя кровавое месиво, продолжали путь.

...Чолхан въехал на княжеский двор. Бледному тверскому князю Александру процедил сквозь зубы:

— Убирайся с глаз, здесь я сяду.

— У меня ярлык... — начал было Александр, но, увидев побелевшие от ярости глаза Чолхана, торопливо пошел собирать семью.

Еще тревожнее стало в Твери. От избы к избе передавали в смятении:

— Щелкан требует с каждого по шкуре соболя, бобра и лисы.

— Да отколь же нам взять для него, проклятого?

— Кто не даст — детей отбирает...

— Говорят, навсегда князем сел, нашу веру сменить заставит...

— Насмеханье!

— Дракон лютый!

— Тверские города баскакам раздаст...

В городе начался разбой. Татары ходили по изbam, брали что приглянется, набивали добром свои переметные сумы.

Чолхан, подбоченясь, сидел на коне посреди городской площади. К нему подводили непокорных, били палками и кнутьем; разжигая докрасна железо, ставили на щеке признак.

Гнали мимо девушек со связанными назад руками. Они шли плечом к плечу, пригнув голову, пыля босыми ногами. Чолхан, подняв плетку, властно остановил пленниц. Оглядел их сузившимися глазами, раздув ноздри, отрывисто приказал сотнику:

— На мой двор!

Сотник завистливо ухмыльнулся. Подойдя к высокой простоволосой девушке, плетью приподнял подбородок:

— Эй, эй! Веселая нада! Вперед...

Чолхан отвернулся. Холодными глазами смотрел на то, что происходило вокруг. На его остроскулом лице написано и торжество, и жестокость, и презрение ко всем этим, кому время от времени надо было напоминать о грозной власти повелителей мира.

Он чувствовал себя властителем урусовтов и у каждого из них словно ощупывал мускулы — на что сгодится: убить ли сейчас или тащить на аркане степью. А брату — великому хану Узбеку — он скажет: «Подлые нарушили твою охрану»

ную грамоту». Узбек и сам недоволен тверским князем Александром, гневаться на меня не станет. Решил так и успокоился.

Следующий день был праздник успения. Да какой это праздник — глаза бы на свет не глядели!.. Дьяк Дюдько — всей Твери известный кутила — проснулся на зорьке, вспомнил все, что вчера свершилось в городе, и сердце заныло.

Он встал — большой, неуклюжий,— оделся, заглянул в конюшню. Мирно хрестела овсом гладкая соловая¹ кобыла. Выкупать бы ее, да как проведешь к воде, когда всюду басурманы шныряют? Э-э, волков бояться — в лес не ходить!

Дюдько подтянул туже веревку на своем длиннополом кафтане, набросил попону на кобылу и вывел ее на улицу.

Было тихо. Солнце вишнево окрасило небо. Пахло утренней речной водой. Нигде ни души. Купаясь в пыли на дороге, воробы «варили пиво». Прокричал в дальнем конце улицы петух.

Дюдько начал уже спускаться к Волге, когда навстречу ему показались три верховых татарина без луков. Поравнявшись с дьяком, один из них соскочил с коня на землю и, ухватив за повод Дюдькову кобылу, крикнул гортанно, словно пролаял:

— Моя!

Дюдько потянул повод к себе:

— Брешешь, ворюга, не твоя! — а сам отступил поближе к забору, что шел вниз по спуску.

Татарин налился злой кровью, рванул повода сильнее:

— Моя!

Рукой потянулся за саблей.

Неожиданным рывком Дюдько выхватил из забора дреколье и с такой силой ударил им по голове татарина, что тот повалился замертво. Дюдько вскочил на свою кобылу и, преследуемый двумя татарами, помчался по улице, крича громовым голосом:

— Тверичи, на помочь! Не выдавай, на помочь!

Отовсюду высказывали люди с топорами, вилами. Татары, злобно озираясь, свернули в переулок — побоялись преследовать дьяка.

¹ Соловая — светло-желтая.

Дюдько подскакал к вечевому колоколу. Ухватившись за веревку, повисая на ней всем своим грузным телом, зазвонил что было силы.

Тревожный гул поплыл над городом, вызывая сполох. Город не спал и, казалось, только ждал этого набатного звона.

Ненависть к мучителям была столь велика, так рвалась наружу, что стоило Дюдько позвать на помощь, как город кинулся к нему.

Не было больше сил терпеть издевательства, покорно пригибаться при свисте вражеской плети, безропотно сносить гнет.

А Дюдько, подоткнув за веревку полы кафана, взлохмаченный, с неистово горящими глазами, все раскачивал било, кричал трубно:

— Буде терпеть! Иль мы боле не воины? Бей окаянных грабителей!

На площадь сбегались все новые и новые тверичи; вооруженные топорами, оглоблями, молотами, толпой валили к княжескому двору. Впереди с пикой в могучих руках, тяжело дыша, бежал кольчужник Матвей. Заглушая шум толпы, кричал зычно:

— Позмельчить грабителей! Позмельчить!

Ворвавшись в терем, тверичане стали сбрасывать татей с чердаков, из окон, добивать в конюшнях и амбараах. Татарин с широким вдавленным носом спрятался в погребе. Матвей выволок его оттуда, связал и потащил к Волге — топить.

Татарин визжал, извивался, как угорь, зубами ухватился за безлистую ветку низкорослого кустарника. Матвей вместе с кустом отодрал татарина от земли, поволок дальше, глухо, гадливо приговаривая:

— Завизжал, как бес перед заутреней. Ранее думал бы!

Освобожденные пленницы с радостным плачем выбежали из ворот княжеского двора.

Чолхан и два его сотника отбивались в широких сенях от наступавших тверичан.

Улучив момент, татары скрылись за дверью, привалив к ней лавки. Из бокового окошка вылетела татарская стрела, наповал убила Матвея.

— Что попусту люд терять! Поджечь терем! — закричал высокий молодой тверич с белыми, как лен, волосами и стремительно бросился вниз по лестнице.

Пламя восстания перебрасывалось и на боярские хоромы

— Пожгем кровопивцев! — потрясая вилами, бежал по улице худой, с изможденным лицом бочар Спиридон Беспалый. Глаза его полыхали ненавистью, рваная рубаха прилипла к костлявым лопаткам.

Догоняя его, опережая, бежали слободские люди:

— Бей богатеев!

— Одно зверье!

— Боярина Воркова в огонь!

Воркова люто ненавидели за жестокость, за то, что обиравал до нитки, измывался над беднотой.

— Осмолить лиходея! Натерпелись!

— В огонь!

Ревущим, неудержимым потоком растекались по улицам, врывались в боярские дома. Гнев клокотал, плавил сердца, и не было на свете силы, которая смогла бы сдержать, затушить его, пока не насытится он справедливой местью.

Ночью над городом стояло зарево от пожара. Догорал проклятый Щелкан, чадили хоромы бояр. Затихли колокола. И опять казалось — вымер город. Но никто не спал. Понимали: теперь жди Узбекова погрома. Стали укладывать пожитки, готовиться к уходу в леса.

МОСКОВСКОЕ УТРО

На широкой вытоптанной площади шумел московский базар.

Крестьяне в рваной одежде продавали с телег овощи, лесные ягоды, муку. Надрывался продавец репы. Девчонка с лукошком яблок зазывала тоненьким голоском:

— Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые!

Раздували горны лите́йщики, переругивались мужики, по-детски трогательно кричал козленок, трудолюбиво постукивали молотками сапожники. Блинники посреди площади пекли блины и оладьи.

— Квасу, квасу!

— А вот кому калачей горя-а-чи-их!

Из открытых дверей кузниц раздавался перезвон наковален.

На лотках, вскidyваясь, трепыхала рыба. То там, то здесь валялись рогожи — укрывать в дождь себя и товар;

преграждали дорогу возы с овощами, горы корзин и горшков.

Слышны были выкрики, говор, неистовый визг поросят, выставивших розовые морды из мешков, хлопанье птичьих крыльев. Пахло свежим сеном, топленым молоком и грибами.

Возле одного из лотков продавал рыбу, мрачно поглядывая из-под нависших, спутанных бровей, огромный черноволосый мужик Степан Бедный. Рядом со Степаном, небрежно скрестив руки на рогатине, стоял его друг охотник Андрей Медвежатник, ладный кудрявый парень с глубоким шрамом над правой смоляной бровью, как бы продолжением ее. Шрам этот, оставшийся от той поры, когда одолел Андрей медведицу, лица не портил, только делал его жестче и мужественнее.

Странной была дружба между Андреем и Степаном. Казалось бы, что могло их связывать? Степану — под пятьдесят, Андрею — вполовину меньше; у Степана большая семья, Андрей только недавно женился на старшей сестре княжеского постельничего Трошки и перебрался в Подсосновки. Степан был хмур, молчалив; Андрей любил громко посмеяться, позубоскалить, славился неуемной силой: таскал зараз по три мешка зерна, устраивал карусель — клал на плечи коромысло или палку, на концы цеплял с дюжину ребят и крутил их, хохоча во все горло. Как-то мост через речку провалился. Так он один поднял его, положил себе на спину и держал, пока телега не проехала. Андрея и тур на рогах метал, и разъяренный медведь на него наваливался, а все бог миловал: выходил целехонек. Степан иного склада: осмотрителен, вброд не пойдет без палки; прежде чем решить что, долго обдумывает — не вышло бы какой беды. Но беда словно подстерегала его: то скот боярина Кочёвы потравит поле, то сборщик снова припишет уже возвращенный долг. После каждой такой неудачи Степан становился еще мрачнее и неразговорчивее.

И все же Степана и Андрея влекло друг к другу. По недомолвкам, осторожным словам чуяли, что мыслят едино.

Базарный шум разрастался.

— Пойду потолкаюсь,— сказал своему другу Андрей Медвежатник. Распрямив плечи, вразвалочку пошел меж возов.

Согбенный слепец гусляр, держась за плечо поводыря, пробирался по гончарному ряду. Верзила с фартуком из ро-

гожи, в дырявых портках широко шагал, ни на кого не глядя, вскинув на плечо кувалду. Слепец уселся на скамееку посреди площади, пристроил на коленях гусли и, склонив набок белоснежную голову, будто вслушиваясь в рождающиеся звуки, стал проворными пальцами перебирать струны, напевая скороговоркой:

Встань, пробудись, мое дитятко!
Сними со стены сабельки
И все-то мечи булатные.
Ты коли, руби сабельками
Богачей, лиходеев Узбековых.
Ты секи, кроши губителей
Все мечами да булатными...

Хмурая толпа, окружившая гусяря, слушает молча. В его деревянную чашку сыплются монеты, куски хлеба, огурцы.

Андрей протиснулся ближе к гусярю. «Как люто ненавидят поганых и богатеев,— думает он, глядя на суровые лица.— Обдирают нас богатеи до последнего!»

В прошлом году, пока ходил на охоту, мать надорвалась, работая на землях Кочёвы, умерла тихо и безропотно. А отца еще несколько лет назад придавило бревном при постройке Кремля — лежал теперь без движения, глядел так, будто винился, что в живых остался.

Задумавшись, двинулся Андрей дальше. Остановился на краю площади посмотреть, как играют в «кружок» двое босоногих ребят. Один из них, в холщовой рубашке, бросил на землю шага за три от себя кольцо и пригнулся. Другой, с веснушками, разбежавшись, прыгнул ему на спину и, сидя там, ловко кидал заостренную железку в середину кольца. И, пока попадал он в кольцо, все сидел на спине у друга, а тот покорно подавал железку. Но вот веснушчатый промахнулся и подставил теперь свою спину.

Андрей, подойдя к ним, с напускной серьезностью спросил:

— В каком ухе звенит?

Мальчионка в холщовой рубашке вскинул на него темносерые глаза, не задумавшись ответил:

— В левом!

— Да ты, чай, слышал? — весело рассмеялся Андрей и поинтересовался: — Звать-то как?

— Лазарь.

— Ну что ж, имя христианское. Ты, Лазарь, не горюй,

что долго спину гнул. Теперь, виши, твой черед кататься.
Может, и мы еще кого со спины сбросим...

Мальчики, не понимая, слушали его. Когда отошел, проводили недоуменным взглядом.

Андрей возвратился к рыбному ряду. Степан был чем-то встревожен.

— Ты чего? — спросил Андрей.

— Слыши, говорят, — приглушил голос Степан, — в Твери неладно... Горит...

— Что горит?

— Кажись, орда город жжет... А иные сказывают — их побили да пожгли...

Трудно было понять, кто принес эти вести. Но они распространялись с непостижимой быстротой, обрастаю слухами и страхами, и, хотя толком никто не знал, что же произошло в Твери, всех охватила тревога.

В это утро московский князь Иван Данилович проснулся, по обыкновению, рано, когда мутноватый рассвет с трудом пробился сквозь стеклянные окна опочивальни.

Потянувшись до хруста, пробормотал:

— Солнышко-то нас не дожидается. — И негромким, хрипловатым от сна голосом крикнул: — Трошка!

Низкорослый чернявый постельничий Трошка будто из-под земли вырос, уставился на князя с готовностью.

— Убери постель, в мыленку пойдем...

В мыленке пар клубился у потолка. В одном углу икона стыдливо тафтой завешена, чтоб не видела житейских дел, в другом, рядом с шайками и кадями, — гора веников. На пол натрущена душистая трава, запах ее сладостно раздувает ноздри.

Намывшись, чуть разморенный, князь помолился в прокуренной ладаном крестовой, привычно кладя поклоны на бархатные подушки перед иконостасом во всю стену, бормоча бездумно:

— Боже всесильный, боже милостивый...

В крестовой церковной тишине. Стоят у стены прутья вербы, красным цветком застыл светильник у иконы пресвятой богородицы, писанной самим митрополитом Петром.

Из крестовой Иван Данилович прошел в хоромы к жене.

Княгиня Елена — молодая, некрасивая, с землистым лицом,— сидя на кровати, вяло расчесывала жидкие косы. снимала с деревянного гребешка пучки волос.

— Как здоровье, как почивала? — подходя к жене, заботливо спросил Иван Данилович, и в глазах его появилось выражение участия и жалости.

Княгиня только головой покачала: мол, как всегда, неважно. Приложив руку к груди, с трудом глубоко вздохнула — что-то давило там денно и нощно.

Князь подошел к колыбели, где лежал Андрейко; улыбнулся, глядя на маленькую, беспомощную головенку сына. Кожа на голове была тонкая, чуть прикрыта редким темным пушком.

Подивился хрупкости игрушечной руки, выпростанной из-под одеяла, крошечным ногтям на пальцах. Самодовольно подумал: «Нос-то вроде моего — долгонький!»

— Пойдем, Еленушка, к заутрене, а там и в трапезную пора,— мягко сказал он жене.

Ел князь не спеша, похваливая стряпуху Меланью. Да и впрямь пирог с луком и говядиной получился отменный. Не любил в еде излишеств. Вчера у боярина Шибеева придумали на обед подать лебедя в сметане. К чему это? Лучше попроще, да посытней.

Иван Данилович допил, похрустывая чесноком, брагу, огладил усы и, сказав, словно сожалея: «Сколь ни пировать, а из-за стола вставать... Ну, спаси бог», вышел на высокое крыльце хором. Больно распахнув темный суконный кафтан, слегка расставив длинные крепкие ноги, стал всматриваться в даль.

Было князю лет под сорок, но невьющаяся борода, стекающая с худощавого лица неровными мягкими струями, делала его старше на вид. Большие удлиненные глаза казались простодушными, смеющимися, только в глубине их таилась все примечающая хитрость, и, когда Иван Данилович был уверен, что никто этого не замечает, взгляд серых глаз становился острым, даже жестким.

Лицо его часто меняло выражение. Особенно изменяли выражение лица губы. Бледные, тонкие, когда он сосредоточенно думал или властно приказывал, в минуты опасности они совсем исчезали, поджимались, и это сразу делало его старше, суще. Когда же Иван Данилович, как сегодня, бывал настроен благодушно, губы его словно бы становились полнее.



По небу быстро бежала тучка, зеркально поблескивали пруды, со стороны Торга доносился приглушенный шум.

Город грелся в лучах скучного осеннего солнца. Вдоль реки тянулись заливные луга, а дальше, насколько хватал глаз, расстипался дикий, дремучий бор. Он точно панцирем прикрывал город, сверху похожий на ладонь в ломанных линиях — закоулках.

Князь увидел под крыльцом грузного боярина Кочёву.

— Поднимись-ка, тысяцкий, сюда,— позвал он.

Тот спешно полез наверх и вскоре стоял рядом, низко кланяясь.

— Запыхался? — спросил Иван Данилович, с усмешкой поглядывая на воеводу.

— Чего там... такое дело... самую малость... Туда-сюда...

Красноречием тысяцкий не отличался. Был он прежде

сборщиком мыта¹ на путях и базарах, потом верой и правдой выбивал для князя подати с городов и сел, а после болезни престарелого воеводы Протасия занял его место в ратном деле. Правду сказать, ума не ахти какого, да зато верен, как крепкие перила лестницы. У себя во владениях холопов к земле пригнул. Прошлый год осмелились они его ослушаться, так пятерых живьем в подворье закопал, а двух у ворот повесил — с сыном стрелы в них метал: кто в очи богомерзкие ловчее попадет.

Такой не подведет. Не то что Алексей Хвост: метит в тысяцкие, а глаза отведи — продаст.

Охватив тонкими, цепкими пальцами перила, Иван Данилович, глядя на Москву, сказал в раздумье:

— Эк разрослась, родная... А давно ли была поселком малым? Не разомстроено, много стараний родом нашим положено. Другие прытко бегают, да часто падают, а надо тишком. Тишком, да наверняка. Аль не так? — обратился он к Кочёве, не ожидая ответа. Любил вести с ним такие разговоры, в них словно бы проверяя себя.— Тишком, да наверняка,— повторил Иван Данилович и умолк, задумавшись.

— ...исподволь, неслышными стопами,— продолжал он некоторое время спустя.— Где волчий рот, а где и лисий хвост... У бога дней много — можно успеть и татарина провести, и Москву возвысить... коли обмысленно.

От напряженного внимания у Кочёвы под глазами простили широкие влажные круги. Он застыл, вбирая в себя каждое слово, желая понять и запомнить все, что скажет князь.

— Меня вот жадностью попрекают, Калитой прозвали. Что головой замотал — думаешь, не знаю? А и пусть, коли не отличают расчет от корысти, бережливость от жадности. Может, в том прозвище почет мой...

Князь усмехнулся, и светлые усы его насмешливо зашевелились. Потрогал, словно погладил, объемистую сумку-калиту, неизменно висящую у пояса, и она отзвалась ласковым говорком монет.

Кожаную сумку эту, с вышитыми серебром причудливыми птицами и зверьми, получил в подарок от хана Орды.

— Помяни слово, Василь Васильевич,— негромким

¹ Мыт — пошлина в Древней Руси; уплачивалась за право проезда с товарами.

голосом, с силой сказал князь,— самого дьявола в калиту посажу — и не заметит.

Он умолк: стоило ли мысли раскрывать? Закончил про себя: «Хана обведу, посажу!.. Будет делать то, что Руси надобно. Пора придет — и честь мою принесет. А спешить нечего: где спех, там и смех».

Со стороны бора повеяло сыростью; где-то пронзительно прокричала птица, и снова наступила тишина. Калита в раздумье ногтем почесал прямой длинный нос, спросил испытующе:

— Ты, Василь Васильич, соседскому князю денег взаймы дал бы?

— Да зачем... что там,— начал было тянуть Кочёва и вдруг отрубил: — Не к чему, много охотников найдется!

— А вот и есть к чему,— весело возразил Калита, лукаво сверкнув глазами.— Скажем, занять соседу малость? Ради бога! Только... красны займы отдачею, а особливо с придачею. Глядишь, а деньга деньгу за ручку ведет, в кошеле позвякивает. Ну, дал рогожу, а взял кожу — то не в зачет! — прищурил он глаза, и губы его слегка дрогнули.— А как влезет сосед в долги — ручным станет, и не к чему его земли силой брать: сами в руки идут. Да и прикупить село-другое можно. Так-то! А коли я с пылу хватал бы, не наелся б, только ожегся.

Он снова любовно потрогал калиту, перекрестился и, отпустив Кочёву, пошел по крепкой лестнице вниз, во двор.

Хозяйским глазом оглядев широкий чистый двор, Калита подумал: «Надобно посад обнести дубовой стеной». Сейчас двор окружен высокой сосновой изгородью, выложен камнем, посыпан песком. На воротах гнездятся кресты, иконы под навесами, писанные прямо на досках.

У конюшен впряженные лошади в возила. Торопливо вышел из казнохранилища управляющий хозяйством, дворский Жито — дородный боярин с серьгой в ухе. Кланяясь на ходу князю, скрылся в тереме.

По двору промелькнули загорелые ноги Фетиньи, дочери недавно умершей прачки Щеглихи. Озорница не видела князя. Подбежала к медушке, открыла в нее дверь и, немного присев, стала дразнить Сеньку-наливальщика:

Рудый красного спросил:
«Чем ты бороду красил?»

Она шаловливо таращила глаза, из которых, казалось, брызгали зеленые искры, и оттопыривала губы точь-в-точь как Сенька. Краснорожий, сердитый Сенька показался на пороге медушки. Фетиньи сразу след простыл, только мелькнул за амбаром цветной сарафан.

Сенька крикнул:

— Погоди, попадешься мне! — и снова исчез в медушке.

А Фетинья уже мчалась дальше.

«Ишь огонь-девка! — глядя ей вслед, добродушно подумал Иван Данилович. — Надо постельницей к княгине приставить».

Истошный, хриплый крик вырвался из конюшни.

— Кто вопит? — недовольно спросил князь у стоящего рядом ключника.

— Мужик-неплательщик.

— Скажи, чтоб рот кляпом заткнули! — резко приказал князь и крикнул вдогонку: — Да лозы не жалеть!

Он побывал в сушильне, проверил у казначея книги с записями и вместе со слугой Бориской вышел из ворот Кремля на улицу.

БОРИСКА

Нелегкое детство выпало на долю Бориски. Отец, гончар, погиб при татарском набеге; мать вскоре умерла от заражения крови: порезала ногу на огороде, в рану попала земля. Остался десятилетний Бориска под присмотром тетки Гаши — сестры матери, женщины крикливой, вспыльчивой, тяжелой на руку. У нее своих детей был полон короб, и к Бориске она отнеслась как к неизбежной и неприятной обузе. Он был предоставлен самому себе и улице, а от тетки Гаши получал больше подзатыльников, чем кусков хлеба.

Жили они на краю города, возле колокольного мастера Луки. И к нему-то чаще всего забегал Бориска.

Лука не только лил колокола, но делал и кое-какую мелкую работу. И Бориска с острым любопытством рассматривал каменные формы, тигельки для плавки и разливания металла, сырдунтый горн во дворе и уже отлитые бронзовые украшения.

Лука был могучим стариком с широкой, как плита, спиной и такой грудью, что, казалось, на нее набиты обручи.

Он был несловоохотлив, но добр и сразу привязался к смышленому взлохмаченному мальчионке с носом-репкой и синими шустрыми глазами.

Вечерами, после тяжкого труда, сидя на завалинке с «приблудным внуком», как называл он Бориску, Лука не то что рассказывал — рассказывать он не умел,— а глухо, отрывисто бормотал:

— Сила земли в умных руках... трудолюбцы красят ее. Вырастешь — поймешь... Не вечно татарам сидеть на шее нашей. Наступит час...

Бориска и впрямь не все понимал в этом бормотании, но ему приятно было сидеть вот так, прижавшись к теплому боку дедушки, прищурившись глядеть на далекие звезды над бором, слушать всплески речной волны. Дедушка прощах дымом, и запах этот тоже был приятен.

Поднимаясь, Лука неизменно говорил:

— Смотри, Бориска, до конца борись-ка...— и отправлялся спать.

Пуще всего любил Бориска военные игры, когда с однолетками, разбившись на «московитян» и «орду», они карабкались по оврагам, устраивали засады и набеги.

Из гибких веток они делали луки, набивали пазухи камнями — и начинались ратные схватки.

Во всех играх Бориска был заправилой, и не раз перепадало ему от тетки Гаши за порванный на локте рукав или шишку на лбу.

Но это нисколько не охлаждало его. Он мечтал о воинской славе, о том, как побьет несметное множество татар, отомстит за отца и возвратится в Москву на красивом коне. Медленно проедет он по своей улице. Дедушка Лука скажет громко, с удивлением: «Да это же Бориска-молодец!»

И даже тетка Гаша с притворной лаской улыбнется, а он на нее и не посмотрит. А у яра, возле ворот покосившейся землянки прачки Щеглихи, будет стоять та вредная девчонка, которую он дергал за косы. Правда, она в отместку однажды расцарапала ему ногтями нос... Фетиньей ее зовут. Чудное имя! А лучше, наверное, нет на свете.

Время шло своим чередом.

Бориска стал отроком, потом юношей — помощником Луки. Появились новые друзья: смелый Андрей Медведеватник, черномазый молотобоец Филипп. И забавы стали

иными: ходили на охоту, устраивали кулачные бои с парнями соседних улиц.

Однажды — это было летом — такой бой разыгрался с особой силой.

Посередине улицы пошла стена на стену, а у ворот глазели старые и малые, кричали, подзадоривая:

— Вали его, Дементий, вали!

— Мякни по шее!

— Ух, ладно по уху оплел!

Бориска, увлеченный схваткой, расшивырял противников, двух схватил за шиворот да так сшиб лбами, что они очумело сели наземь. И драчуны и зеваки не сразу заметили, как вышел из-за угла князь Иван Данилович в сопровождении охраны. А когда увидели — заметались: кто постарался улизнуть, кто так и остался стоять, где был, будто ничего и не произошло. Знали: не любил князь такие забавы.

Калита, хмурясь, подозвал Бориску. Тот, взмокший, со свежей ссадиной через весь лоб, подошел к князю, виновато потупился.

— Чей будешь? — тихо спросил Иван Данилович.

— Гончара Ивана, — не ожидая ничего доброго для себя от этой встречи и этих расспросов, ответил Бориска.

— А ловко ты их... лбами. Треск слышал? — неожиданно весело спросил князь.

Только теперь осмелился юноша поднять голову. Увидел смеющиеся, сейчас добрые глаза князя, и у него самого губы невольно растянулись в улыбку, широкий нос приподнялся, озорно сверкнули глаза:

— Да я полегонечку!

Князь громко засмеялся, засмеялись и люди, сопровождавшие его.

— Не на то силу тратим! — вдруг строго сказал Иван Данилович и, осуждающе поглядев на Бориску, приказал: — Завтра в полдень в Кремль придешь.

Князь ушел, а друзья и недавние «враги» обступили Бориску, знающие предупредили:

— Жди батогов...



Настроение спáло. Стали расходиться.

Вместо наказания Бориске на следующий день объявили на кремлевском дворе, что он будет служить князю в охране его.

Бот не ждал, не гадал попасть в дворские люди! Очень не хотелось расставаться с вольницей, с дедушкой Лукой, с дружками, не по сердцу была новая служба. Но что поделаешь! Значит, на то божья воля.

И так как Бориска привык все делать на совесть, то и в новой службе проявил себя наилучшим образом.

В юноше не было и тени угодства, и все, что он делал теперь для князя, он делал от души, свято поверив, что призван служить ему верой и правдой, а понадобится — отдать и жизнь.

Если юноше казалось, что князю грозит опасность, он так выразительно прикасался рукой к короткому изогнуто му ножу у пояса, будто спрашивал: «Не надобен ли? Я здесь». На охоте, в походах старался быть поблизости: помочь, оградить от беды.

Нисколько не заботясь о себе, он оказывал услуги князю, не ожидая за то ни выгод, ни наград, и Калита не раз в душе одобрял свой выбор.

Вскоре после появления в Кремле Бориска сделал радостное открытие: среди дворских людей оказалась давняя знакомая — Фетинья, что года два назад исчезла с их улицы невеста куда. Она жила здесь сначала с матерью, а после смерти ее осталась в прачечной. Фетинья была и прежней девочкой с косами, за которые хотелось дернуть, и вместе с тем стала совсем другой.

И сразу по-иному заиграли Борискины дни: каждый из них наполнился особым значением — быстрым взглядом, улыбкой Фетиньи, случайно оброненным ею словом, робким рукопожатием в полутемных сенцах. И уже не дни — месяцы пролетали в радостном ожидании чего-то такого, что ждет тебя впереди, что должно свершиться.

Оба сироты, они чувствовали себя здесь, как в чужом kraю, вспоминали о родной улице, о дружках, подругах, и воспоминания эти еще больше сближали их.

И теперь, если не видели друг друга день-другой, они уже тосковали, беспокоились: не случилось ли что, не разлучила ли их судьба, которая не однажды обходилась с ними, как мачеха.

Чувство, впервые овладевшее Бориской, так переполня-

ло его сердце, что простые, обычные слова казались ему теперь тусклыми, невыразительными. И он стал складывать строки наподобие песни, и тогда слова, обращенные к Фетинье, зазвенели, переливаясь, как лучи солнца на влажном весеннем лугу, полились свободно и плавно, как волны Москвы-реки, задумчиво проплывали, как пенистые облака в поднебесье.

В такие часы хотелось свершить для людей что-то большое — такое большое, как этот мир, что раскинулся перед ним.

НА БАЗАРЕ

Выйдя из ворот Кремля, Иван Данилович зашагал запыленными улицами, пустырями в крапиве, едва заметным кивком головы отвечая на низкие поклоны встречных.

На князе, несмотря на жаркое время, длинный темный опашень, шапка с меховым околом, на ногах короткие зеленоватые сапоги из сафьяна. Походка его казалась скользящей.

Поодаль от князя, поглядывая по сторонам, шли несколько вооруженных воинов. Только Бориска, ловкий и гибкий, как молодой барс, весь какой-то пружинистый — вот-вот свершит прыжок,— следовал в двух шагах от князя, щуря веселые синие глаза. Его лицо с широким вздернутым носом, тонкой кожей, неярким румянцем, золотистой бородкой было смелым, задорным и вместе с тем добродушным.

На перекрестке улицы Калита снял шапку, перекрестился перед иконой на столбе и пошел дальше, мимо часовен, курных изб с оконцами, затянутыми воловыми пузырями. Миновав кладбище, он наконец очутился на базаре.

Отовсюду на него устремились опасливые и любопытствующие взоры; там, где он хотел пройти, возникал свободный проулок.

По обрывкам фраз, необычности шума, выражению лиц князь сразу почувствовал, что базар чем-то взволнован, но не мог понять чем и насторожился.

Увидев Бориску, Андрей Медвежатник издали дружески подмигнул юноше, и тот, поняв этот знак как вопрос: помнишь ли? Не зазнался ли? — ответил ему веселым подмигом.

Калита почти миновал рыбный ряд, когда Андрей, кивнув вслед князю, прошел сквозь зуны:

— Главный обиратель!

Степан опасливо отодвинулся от Андрея:

— Мы не судьи...

— А н люди! — сверкнул глазами Андрей, и ноздри его гневно раздулись, а желваки забегали на загорелых щеках.

Бориска, уже успевший узнать цены, сокрушенно сказал, возвращаясь к князю:

— Дороговизна! Кадь ржи — рубль.

Калита нахмурился. Подумал с горечью: «Оттого и дорого, что почти все татарину идет».

К князю бочком подошел «божий человек» Гридя в черной рваной рясе. О нем шла молва: семь лет назад ободрал Гридя козла, надел свежую козлиную кожу. Она усохла, въелась в тело. Юрдствует! И не поймешь: малограмотен ли, прикидывается ли? А говорит все без опаски. Вот и сейчас, притворно трясясь, испытующе просверливая князя глазами, Гридя запричитал:

— Ты ворога дури, дури... В круг пальца обводи... Люди не осудят, что в Орду ездишь. Лучше к ним езди, чем они, грабежники, к нам... В Твери гарью пахнет. Не пусти огонь на Москву.—И запел визгливо, протяжно, задирая вверх редкую бороденку: — Господи, благослови раба твоего Ивана...

Иван Данилович бросил Гриде монету:

— Молись за тишину в Москве и на Руси!

Сам дальше пошел. Услышанное от Гриди было важно: понимал — не свое он говорит, а то, что в толпе, в рядах слышит. Значит, знали: к Узбеку ездит не для истинной дружбы — провалились они пропадом! — а потому, что надобны эти поездки Руси. Почему Гридя о Твери так сказал?.. Это встревожило. Может, опять «милые» соседи затеяли что против Москвы, спалить ее хотят? Или у самих что произошло? Так послухи б прискакали...

Верные люди были у Калиты повсюду, а в коварной Твери тем более: неспокойна она. Недоброе замышляют тверские князья-раздорники против Москвы: подступали с боем к ней, наводили на Русь иноземцев, помышляли изменить отчине, утвердить свою власть. Погубили брата Ивана, Юрия, что с новгородцами ходил против шведов, съединял русские силы. Разве думали о всей Руси, о том, как сбросить с шеи татарский аркан? Дробили землю,



К князю бочком подошел «божий человек» Гридя в черной рваной рясе.

в ослеплении своем помогали подлым ордынцам лиходейничать. Что же сейчас еще замышляют?

Калита заглянул на мытный двор узнать, много ли мыта собрано. Недоволен остался. Новый мытник Данила Романович собрал с проезжающих через Москву меньше прошлого месяца.

— Плохо стараешься! — бросил князь.— Из твоего кармана недостачу возмещать буду!

Покинул избу, сердито хлопнув дверью. Думал дорогой в Кремль: «Не понимает, кабанья голова, что и мыт силу приносит! Рожу красну наел, хоть онучи суши, а в голове не посейно... Недомыслок!.. Что ж из Твери никого нет?»

Он зашагал быстрее.

Солнце поднялось из-за леса, когда Иван Данилович остановился у собора. На паперти ползали калеки в рубищах, ввалившимися глазами смотрели снизу вверх на входящих, жадно ловили гроши, что раздавал Калита.

Князь долго стоял в соборе, набожно крестясь, наслаждаясь прохладой, а в голове теснились свои, всегдашие мысли: «Вот собор знатный отстроили во имя успения пресвятой богородицы — господу внимание и нам польза. В случае пожара добро здесь укрыть можно; чернь поднимется или татарин придет — стены муранные спасут. Митрополит Петр своеручно уготовил себе в соборе гроб каменный. «Будут сюда, предрекал, к усыпальнице моей, паломники стекаться — Москве польза». И впрямь польза».

Калита усмехнулся: «Богу молись, а добра ума держись... С Жабиным потолкую, чтоб храмов еще построил: паломники потянутся, потекут доходы церковные. Москва станет градом богоспасаемым, а наследники мои — защитниками христиан от басурман поганых. А если кто из соседей не повиноваться посмеет, откажет помочь против недругов, только шепну митрополиту — проклянет, от церкви святой отлучит строптивого!..»

Калита прикрыл глаза. Белые длинные пальцы его привычно перебирали складки сумы.

ГОНЕЦ ИЗ ТВЕРИ

В вечерних сумерках сукно-багрец на стенах кажется черным. В углу, под образами, низко склонившись над столом, Иван Данилович читает Юстинианову книгу¹ в серебряном окладе.

Темнеет изразцовая печь, вдавился в стену приземистый шкаф с вдвинутыми ящиками, зеленоватые тени упали на иконы, пахнет лампадным маслом и воском.

Князь, положив на книгу стиснутые ладони, задумался: «Жизнь есть борение, а знание — оружие. Надо неустанно оттачивать сие оружие. Не обидно ли: только начинаешь разбираться в людях, мудрость постигать, а кончается век твой, природой тебе отведенный».

Князь свистелкой вызвал слугу. Тот бесшумно внес свечи в ставцах, и комната озарилась мигающим светом, огоньки забегали по иконам, серебряным блюдам на стенах.

«Вот Юстиниан порядки твердые завел,— продолжал размышлять Иван Данилович.— И нам следует русскую землю от татей избавить, чтоб не смел никто похищать бразду ближнего своего, на властителя руку поднимать».

Снова вошел слуга:

— Какой-то человек просит выслушать, сказывает — принес важные вести из Твери.

— Из Твери? — быстро, словно только этого и ждал, переспросила Калита.— Впусти...

В горницу вошел запыленный, уставший человек, видно, после долгого пути. Перекрестившись на образа, низко поклонился князю. Вглядевшись в обросшее, обветренное лицо, князь узнал сотника Засекина.

— О важном, княже, сведал, потому и осмелился покой твой нарушить.

Он говорил, тяжело дыша, судорожно хватая воздух, кольчужная рубашка поскрипывала.

— Сказывай!

Будто страживая усталость, Засекин передернул плечами, провел рукой по вспотевшему лбу.

— Давень,— начал он взволнованно,— в Тверь въехал с большим отрядом баскак Щелкан...

Чем дальше слушал Иван Данилович, тем возбужденнее становился, даже чуть подался телом вперед.

¹ Кодекс Юстиниана — сборник законов, составленный при византийском императоре Юстиниане I (483—565 гг.).

— Сожгли подлого? — спросил он и радостно улыбнулся.

Слышал о поганом Щелкане, сыне Дедени, о зверствах его лютых. О тверском князе подумалось: «Поделом изменнику...»

Иван Данилович встал, до хруста сжал пальцы. Обращаясь к гонцу, сказал:

— Вовремя прискакал. Услуги не забуду. Ступай отдохни!

Оставшись один, налил в ковш квасу из жбана, выпил одним духом.

Хана Узбека хорошо знал: вспыльчив, мстителен, коварен.

К трону пришел, убив сына Ильбасмыша, убрав с дороги еще многих.

Теперь Узбек за Щелкана месть учинит всей Руси, пройдет по ней вдоль и поперек, оставляя лишь дым, пепел, трупы да пустую землю. Истопчет копытами конницы все, что далось почти за сто лет кровью и потом, трудом и унижением.

Князь стал быстро ходить, нервно потирая ладони.

«Да если?.. А если?.. — вспыхнула вдруг мысль.— Если гнев хана направить только на Тверь? И потом...»

Он заметался по горнице.

«Сам бог счастье в руки дает! У тверского князя-раздорника ярлык от Орды дань собирать со всех княжеств. Да разве он из ярлыка всю пользу берет? Только о своих выгодах и печется. Литве продаться готов. Для всей Руси яд готовит... Разве ж такому ярлык?..»

Сморщился, будто от кислицы, пренебрежительно усмехнулся: «Сам корову за рога держит, а сторонние люди молоко доят. Эх, мне б этот ярлык, мне б!..»

Пальцы заныли, словно ощущая хрусткий белый свиток с ханской красной тамгой — печатью. Знал — на листе золотыми и черными знаками начертано: «Пусть будут защищены от поборов и налогов... Живут спокойно и в тишине, а кто ярлыком пренебрежет, тому доброго не будет».

О золотом ярлыке этом мечтал каждый князь. Обладание ханской грамотой отводило набеги татар, возвышало над остальными князьями, ставило под защиту хана.

Иван Данилович подошел к окну, посмотрел через слюдяную муть невидящими глазами. «Казна наполнится, ка-

литушечка тощей никогда не будет, сборщики перестанут наездами мучить. Чернь заботится гиль замышлять. Москва подымется столым градом государства единого. Гости заморские пожалуют... Кремль макушкой каменной облака будет цеплять...»

Но тут же вспомнил, что надо ехать в Орду на унижение, и опять помрачнел. «Тяжко... Но иного пути нет, надо через то переступить».

В ушах прозвучали причитания Гриди: «Не пусти огонь на Москву...»

Князь еще ясно не представлял, что сделает, чтобы спасти Москву, но уже знал: сейчас ему следует поскорее быть там, где всего опаснее,— в Орде.

Иван Данилович сжал губы, исчезло с лица выражение простодушия, и оно стало волевым, решительным. Сказал вслух, с вызовом:

— Аль не внук я Невского?

И снова заскользил по горнице из угла в угол, из угла в угол.

«Пусть не мечом... Мечом еще не время. Хитростью... Дед Александр ливонцев в прах разбил на Чудском, а вскоре приглашение хана Берке принял — в Орду с подарками поехал. Дальновидец... Иначе нельзя было, тонкий ум того требовал. И я поеду. Первым поведаю о Твери. Все едино позже меня кто-то в Орду приедет и Тверь так же терзать станут... А тут я хоть от Москвы удар отведу. Войду в доверие. Ханский гнев на одну Тверь направлю... Князь Александр Тверской — лукавое сердце. Его не жаль. Сейчас все силы надо приложить, чтобы на Руси крови меньше пролито было, не повторилось побоище. Только не медлить... Часом опоздаешь, в год не наверстаешь, не время дорого — пора!»

Он решительно подсел к столу, отодвинул бронзового ястребка, серебряную чашу с крылатыми быками. Положив перед собой свиток бумаги, разгладил его ладонью и, обмакнув в чернила лебяжье перо, начал писать, часто останавливаясь, задумчиво разглядывая на пальце перстень с изображением суда Соломона.

«Во имя отца, и сына, и святого духа. Я, грешный, ничтожный раб божий Иван, пишу духовную грамоту, идя в Орду, никем не принуждаем, целый своим умом... На случай, если бог что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей.

Завещаю сыновьям своим отчину свою, Москву... и жити дружно, владеть нераздельно. Даю сыну своему старшему Симеону Можайск... Коломну с волостями, села купленные, четыре цепи золотые, три пояса золотых, три блюда серебряных... Даю сыну моему Ивану Звенигород, Кремичну, Рузу...»

За стенами стояла темная августовская ночь 1327 года.

Что сулит грядущий год Москве, ему, князю московскому? Суждено ли в Орде погибнуть или сможет умиротворить ее?

Окончив завещание, он присыпал песком исписанный лист, откинулся утомленно на спинку кресла. «Надо утром прочитать свидетелям — отцам духовным: Ефрему, Федорию да попу Давиду... Дьяку Костроме дать переписать и в соборе, в алтаре, спрятать».

Положил завещание в шкаф, запер его и, дав распоряжение готовиться к отъезду, пошел в опочивальню.

РАССТАВАНИЕ

Глубокой ночью Бориска, держась густой тени стен, прокрался в дальний угол двора. Пошел дождь. Где-то скучила собака. Пахло сырьими досками.

Не успел юноша присесть на лавку под старым, в три обхвата, дубом, как теплые руки потянулись к нему из-за плеч, закрыли глаза. Захолонуло сердце.

— Фитиньюшка, ласточка моя! — радостно прошептал он, положив свои пальцы на девичьи, пахнущие мяты.

— Борисонька! — обвила Фетинью его шею.

Он притянул девушку к себе, посадил рядом. С листьев дуба на их лица падали крупные капли дождя.

Князь неспроста называл Фетинью стрекозой и куролесницей. Маленькая непоседа с быстрыми движениями, она без устали летала по двору, и ее звонкий голосок весь день раздавался то там, то здесь.

Черты лица ее нельзя было назвать правильными: по-мужски выпуклый лоб, широкий нос. Но все это скрадывали глаза — зеленые, ясные, полные ума и веселья, они все примечали; то лукаво улыбались, то метали зеленые озорные брызги, словно кто ударял по кресалу, то насмешливо щурились. Ее ребячливым шалостям и выдумкам не было

конца: обменит лапти у подружек, потом сама и признается; в полуку тыкву с отверстиями поставит зажженный огарок, тыкву на палку поднимет и ночью пугливых страшает: им мерещится — движется чудовище с огромными очами. И хотя порой сердились на нее за проказы, а и любили егозу. При взгляде на нее светлели лица у самых сумрачных.

— Что ж ты припоздал так? — укоряюще прошептала Фетинья, пряча лицо на груди Бориски, и счастливо засмеялась.

Он сидел, обняв девушку, заботливо набросив на ее плечи свой дорожный плащ.

— Уезжаем мы с князем, к отъезду готовились.

— Надолго? — тревожно взглянув, спросила Фетинья Бориску.

— Неведомо. В Орду едем, в Сарай-Берке...

— К идолищу поганому! — со страхом воскликнула Фетинья, прижимая руки к груди. — Порешат они вас, Борисонька, чует сердце, порешат!

— Бог милостив,— скромно ответил юноша и, помолчав, добавил с горечью: — А и убьют, кому по мне слезы лить? Один я на белом свете!

— А я? — едва слышно спросила Фетинья, и слезы навернулись у нее на глаза.

Бориска снова обнял ее сильной рукой, губами осушил слезы, забормотал виновато:

— Ну, пошто, пошто, голубонька, радость моя... Не печалуйся... Должон я возле князя быть...

Дождь прошел, замигали звезды; луна, ярко освещая крыши Кремля, двор, заботливо оставляла в тени лавку под дубом.

Запели в третий раз петухи, но трудно было расстаться. Наконец Бориска встал.

— Пора! — решительно сказал он и, отодвинув немного от себя девушку, словно стараясь навсегда запомнить каждую черточку дорогого лица, поглядел на нее долгим взглядом. — Будешь дожидаться, коли беда задержит? — глухо спросил он, пытливо заглядывая в ее глаза, сейчас казавшиеся темными.

— Век прожду, а дождусь! — клятвенно произнесла Фетинья и так посмотрела на Бориску, будто умоляла: «Ты мне верь, ты твердо-натвердо верь!»

— Так помни!



Легким прикосновением Бориска погладил ее руку и исчез — казалось, растворялся в предутреннем тумане.

...Утром, отправив завещание в собор, Иван Данилович собрал самых верных своих мужей — больших бояр.

По правую руку его сел мудрый, седой Протасий — владелец многих дворов, земель, рыбных ловель, покосов, бобровых гонов, соляных ломок. Протасий был дряхл: щеки глубоко впали на его бледном лице; он едва ходил, но сохранил нестарческую ясность ума и не однажды советами поддерживал князя.

За Протасием, застыв, неподвижно сидели, уставив бороды в пол, сборщик мыта Данила Романович — владелец бортных¹ угодий и коптильни для рыбы; хранитель печати Шибеев с толстой заячьей губой; мрачный дворский Жито; Василий Кочёва.

Князь оповестил думу о событиях в Твери, о том, что немедля собирается ехать в Орду, и просил во всем поддерживать Василия Кочёву, которого оставлял вместо себя.

Воцарилась напряженная тишина. Князь испытующе поглядывал на думцев.

— Ехать надобно. В тяжкую минуту место твоё там,— вздохнув, сказал за всех Протасий.— Будь спокоен, порядок сохраним...

Бояре, подтверждая, закивали головой.

¹ Б о р т н и ч е с т в о — добыча меда.

«Хорошо, что опора есть», — подумал Иван Данилович.

— Мы тебе поддержку во всем окажем, — продолжал Протасий. — Всяк понимает, дело не только твое — наше... А Твери самый час отомстить.

Князь нахмурился:

— Не о мести помышляю... О жизни Москвы.

Отпустив думцев, задержал Кочёву, чтобы дать ему последние наставления перед отъездом.

Воевода Кочёва внимательно слушал князя, смотрел на него с собачьей преданностью.

— В Орду вплавь пойду, на ладьях, — негромко говорил Иван Данилович, — так безопасней да и быстрей. Проводишь до Клязьмы...

Кочёва напряженно стоял перед князем, даже взопрел под парчовым кафтаном, обшитым мехом. Полные пальцы его в рыжеватых волосах все время шевелились.

— Надэирай! — строго посмотрел на Кочёву князь. — Выгоды наши блюди. В случае чего — советуйся с боярами, особенно с Протасием и Шибеевым... Приеду — за постоянство честь учрежу. А кто повиноваться не будет — всей силой карай! Ясно? — спросил, будто узел затянул.

— Так что, туда-сюда, ясно, княже... — гугниво ответил Кочёва и переступил с ноги на ногу.

Знал князь: Кочёву охотно поддержат и бояре, часто ссорящиеся между собой. Протасия не терпели за ум; в Даниле Романовиче видели человека, желающего оттеснить их; Шибеева считали случайно выплавившим высокой, и все сходились на Кочёве. Да и сам князь опасался наделять властью Протасия — не привык бы к ней. Владения большие — всяко может на ум прийти. У Кочёвы поменьше: он и слуга вернее.

К митрополиту Феогносту Калита пошел сам.

После недавней смерти митрополита Петра Феогност тоже поселился в Москве, и Калита очень рассчитывал на поддержку грека. Дорогой к нему думал: «Умен, а Петр погибче был. В Орду сам ездил, ярлык с золотым знаком у хана Узбека получил. Щутка сказать!»

Наизусть помнил, что написано было в том ярлыке: «Да никто не обидит в Руси церковь соборную, митрополита Петра и людей его — архимандритов, игуменов, попов. Их грады, волости, села, земли, луга, леса, винограды, са-

ды, мельницы, хутора свободны от всякой дани. Ибо сии люди молитвою своею утром и вечером блoudут нас и наше воинство укрепляют, молят бога за нас и детей наших. Кто возьмет что-нибудь у духовников — заплатит втрое. Кто обидит церковь — да умрет».

«Шутка сказать! — повторил про себя Калита с засмистью. Улыбнулся, вспомнив чудную приписку в конце грамоты: — «Писано в заячье лето¹, в четвертый день ущерба луны на полях». И зайцев приплели, поганые!»

Феогност застал у собора: тщедущен, черен, а важности на десятерых хватит.

— Благослови, преподобный отче, в Орду еду...

Получив благословение, попросил:

— Кочёву-то вразуми, святой отец. Не обходи попечением. Возвращусь — в долг не останусь...

Феогност значительно покивал маленькой головой:

— Поезжай с богом!

Перед самым отъездом Иван Данилович позвал к себе сына Симеона — отрока с серыми, как у князя, продолговатыми глазами.

Юнец был молчалив, нелюдим, ходил, откинув большую голову назад, прижав руки к туловищу, глядел на людей прямо и смело.

Войдя, Симеон неуклюже поцеловал руку отца, пригладив прямые, похожие на лычки волосы, выжидающе поглядел на князя.

На мальчике был малиновый кафтан, перехваченный поясом, в руках держал он шапочку с синей тульей — верно, во дворе играл, когда позвали.

Давно ли малышом постригали, на коня сажали, чтоб рос отважным и сильным, а вот уже и отцу по плечо.

Иван Данилович вплотную подошел к сыну, нежно обеими ладонями взял его голову; глядя в глаза, спросил с тревожным сомнением:

— Встретимся ли, чадо мое возлюбленное?

Необычайная взволнованность и ласковость отца поразили мальчика; невольные слезы появились у него на глазах.

— Вырастешь, Семушка, не осуди, — выпуская из ладоней голову сына, тихо сказал Иван Данилович. — Во время драки и за грязный камень схватишься... Не думай, что

¹ 1313 год.

легко мне совестью двоить — в Орду ехать. Но надобно, дитятко, надобно. Для отчины нашей, для светлого дня завтрашнего...

Он говорил больше для себя, себя убеждал, что избрал единственно верный, хотя и тяжкий путь.

— А ты меч возьми! — сверкнув глазами, воскликнул детским, срывающимся голосом Симеон, и видно было — сам готов рядом стать.

Отец с любовью посмотрел на него, положил руку на плечо:

— Не время, родной... А приказали бы мне: «Яму навозну руками вычисти — Москве польза от сего будет», слова бы не вымолвил — сделал! Не для себя славу ищу, землю по крохам сбираю. Я свечу зажгу, при внуках разгорится она ярким пламенем. Только не погасите ее раздорами, заодно все будьте!..

Он сказал это со страстной силой и надеждой, продолжая пытливо глядеть на сына.

Помолчав, спросил сурово, как у взрослого:

— Не погасишь, чадо?

Сын порывисто припал к узкой ладони отца, ответил тихо:

— Не погашу, батюшка...

— Верю, родной,— погладив Симеона по волосам, сказал Иван Данилович.— Ну, пора в путь.

В ПУТИ

Крытые повозки с подарками для хана и всем, что понадобится в пути и в Орде, Иван Данилович отправил под охраной Кочёвы вперед — грузить на Клязьме в ладьи. А сам через день двинулся с другим отрядом к Клязьме, но кратчайшим путем — через лес.

Когда выехали из кремлевских ворот и спустились вниз, к реке, Иван Данилович краешком глаза поглядел на Кремль. Издали и снизу казалось — устремился он к небу всеми своими башнями и шатровыми крышами.

На кремлевской стене стояла в пурпурном плаще княгиня Елена, держала на руках Андрейку, к ней льнули остальные дети. Лица Елены не увидел, но знал: покорно и грустно оно. Сердце его сжалось: «Увижу ли когда еще?..»



И пока они ехали на виду у Кремля, пока не миновали моховое болото за Неглинной, пока не скрылись за холмом, их провожали глаза женщин и детей.

И Фетинья из окошка светлицы долго смотрела вслед Бориске, страстно шептала: «Дай те господь силы, суженый мой!»

Под Иваном Даниловичем малорослый конь. На князе шелом, в левой руке круглый выпуклый щит, у пояса меч. Но не чувствовалось во всаднике воинственности, сидел на коне нескладно, хотя ясно было — вот так-то, нескладно может просидеть, если понадобится, от зари до зари.

Позади него Бориска — врос в седло. Тонконогий красавец конь так и играл под ним, чуя умелого всадника, словно гордился им. На Бориске легкий шелом, колонтарь¹ из железных блях, скрепленных кольцами, лук со стрелами, за ремень небрежно сунут топорик, сделанный своими руками.

Ехали неширокой дорогой, теснясь к середине ее. По сторонам тянули к себе топи да грязи великие. Вдоль безлюдной дороги то и дело попадались безвестные кресты, одинокие замшелые камни. Калита ехал, бросив поводья, глубоко задумавшись: «Что ждет в Орде? Что с Русью будет? Гнев тверичан понятен... Трудностерпеть обиды. Но властителю надобно думать не сердцем — умом. Время требует осторожности — идти в сапогах, а след оставлять бо-

¹ Колонтарь — доспех без рукавов.



сиком. И сила уму уступает. Что толку: стонем, вздыхаем под игом иль неразумно обиду срываем. Пора исподволь освобождение готовить».

Эта мысль стояла всегда рядом, как тень.

Воины продвигались молча, покачивались шлемы с флагшками на остриях; однообразно позывали удила, и звук этот вплетался в глуховатый топот копыт.

Снаряжены были разно. У бояр шлемы украшены серебром, золотой чеканкой, латы из бронзы, на бедрах мечи с тяжелой рукоятью. Кто победнее — в шлемах из волчьих шкур, с самодельными копьями, в панцирях из кожи с нашитой железной чешуей. А у постельничего Трошке возле пояса длинная вервь с гирей на конце; на самом Трошке стеганый кафтан, набитый пенькой и кусками железа.

Когда въехали в лес, всех охватила устоявшаяся сырость. Дорогу преграждали упавшие деревья, их цепкие ветви хлестали по лицу, коряги, походившие на лапы поверженных чудовищ, мешали продвигаться. Возвышались могучие дубы. Бориске казалось — сойдутся они сейчас и начнут вспоминать богатырские подвиги Ильи Муромца и Микулы Селяниновича. Юноша жадно примечал каждую мелочь: как отражались в щитах воинов пламенеющие листья клена, как протягивали над землей мохнатые рукава хмурые ели, а возле раздвоенного корня березы вдруг проглядывали ягоды: черные псинки, веселые глазки. Проворные белки сушили на зиму грибы, нанизав их на сучья у нор.

Недавно прошел дождь, и под копытами чавкала грязь. Тучи гнуса слепили глаза, присасывались к конским головам с торчащими на них лисьими хвостами.

Наконец дорога стала просторней, и, миновав березовую рощу, отряд снова выбрался на прорубленную тропу. Солнечный луч прорвался на нее, золотистой полоской побежал по стволам, верхушкам деревьев — словно прорезал лесную гущу и снова скрылся.

На каждом шагу встречались знаменá — насеки топором над дуплами с роящимися пчелами. Насеки походили на сапог, вилы, заячий уши. Скоро придут древолазы ломать душистый мед. То там, то здесь виднелись искусно расставленные по ветвям пругла для ловли птиц, перевесы, ловко свитые из веревок.

Глядя на роящихся пчел, Бориска припомнил смешную историю, что сказывал ему в детстве отец. Будто отправился один мужик-бортник в лес по меду. Залез на дерево, да провалился в дупло и застрял в меду по пояс. Орет, а без толку — кругом ни души.

Два дня эдакостоял, пока подмога пришла с неожиданной стороны: взбрело медведю-сластене в то же дупло полезть. Только засунул он лапу в дупло, опустил ее на голову вздрогнувшего мужика, а мужик глаза открыл да как завопит, ухватившись за что-то мохнатое. Медведь рванул лапу, выхватил мужика из дупла, вместе с ним свалился с дерева и пустился наутек.

Бориска улыбнулся, представляя себе эту картину: «Каких небылиц не выдумают!»

Лес начал редеть, и отряд выехал в поле, к скирдам, освещенным солнцем. Сразу стало светлее на душе, и Бориска, с удалью тряхнув головой, широко и радостно улыбнувшись, выпрямился.

Князь добро посмотрел на него. «Сейчас будет веселые песни сплетать», — подумал он. К этой страсти Бориски князь относился снисходительно, как взрослый к детским забавам.

— А ну-ка, начинай! — подмигнул он Бориске, поощряя.

Бориска не заставил себя упрашивать и, озорно блеснув синими глазами, стянув с головы шелом, откинув светлорусые волосы назад, начал юношески-мягким голосом:

Рада баба, рада,
Что дед утопился.
Наварила горшок каши,
А дед появился!

Грохнули смехом воины, заулыбались одобрительно:

- Ишь взыграл!
- Гладость какая!
- Грамотник!

Гордились Бориской: на ратное дело крепок и песно-творец гораздый. Иной раз так сложит — в боку от смеха заколет, а иной — до того жалостливо, что в горле щекотно.

Любили Бориску. Было в нем смиренное до поры до времени буйство — так и рвалось оно наружу в улыбке, блеске глаз, гике молодеческом; было бесстрашие, не знающее предела,— мог один пойти на медведя, броситься с кручи в реку, ночью пронираться сквозь лесную чащу.

Был он весь налит силой и молодостью, и за что ни брался: коня ли подковать, кольчугу ли сделать,— все у него спорилось, горело под руками. И грамоте-то обучился от попа Давида между делом, играючи.

Но веселье сегодня не ладилось. То ли устали, то ли не могли отрешиться от мысли, что едут на смертное дело — не в открытое поле, где силой можно померяться, а во вражий стан.

Бориска попел да умолк, начал думать о Фетинье, составлять послание к ней.

Лицо юноши приняло мечтательное выражение. «Нежная ты моя!» — так начал он, но тотчас слова сами собой стали складываться в песню:

По тебе, муравка-травка,
Я не нахожуся.
Тебя, верную, люблю,
Да не налюблюся...
Не забудь, Фетиньюшка,
Под дубочком встречу,
Наш сердечный разговор
В тот прощальный вечер...

Слова лились из глубины души — свободно и просто. О Фетинье думал всегда: и в радости и в печали. В радости — хотелось ею поделиться с девушкой, в печали — чтоб рядом была, утоляла боль...

Отряд выехал к выгари — поляне с выкорчеванными,

выжженными под пашню пнями. Уродливые черные корни разламывались под лошадиными копытами.

Нивари¹ трудолюбиво копошились в земле. Рядом с иными пнями походили они на крохотных букашек — а вот, поди же, упрямством своим, руками своими добывали хлеб, украшали как умели жизнь.

Завидев отряд, нивари разогнули спины, начали с тревогой вглядываться в проезжающих всадников: чего ждать от них? Разбоя ли, полона? Или проедут, не тронув? Видно, успокоившись, продолжали свой нелегкий труд.

«Вот кому поклониться надо,— думал Бориска,— кормят всех, селенья из праха подымают».

Небо неожиданно потемнело, затянулось клубящимися черными тучами. Их глыбы пронзила ломаной стрелой молния, загремел гром, будто за лесом столкнулась тысяча щитов, и наземь стали падать первые крупные капли дождя.

Отряд пошел рысью. Вдали показались избы селения.

СТЕПАН БЕДНЫЙ И АНДРЕЙ МЕДВЕЖАТНИК

Темным вечером в урочище Подсосенки, под Москвой, кто-то постучал в дверь избы Степана Бедного. Степан, открыв дверь, взгляделся — за дождем ни зги не видно.

Порог переступил Андрей Медвежатник.

— Бог помочь, сосед! — приветливо сказал он, снимая шапку с кудрей.— Не в пору гость — хуже татарина.

— Да пора-то не поздняя, заходи,— сдержанно предложил Степан, пропуская гостя вперед.

Андрей скинул зипун, сел на скамье у стола. Степан с порванным бреднем пристроился поближе к лучине, разложил каменные грузила, поплавки. Андрей взял в руки грузило, повертел — походило оно формой на веретено с трубкой,— положил на стол.

В избе было пусто и неуютно. Струйки воды текли на пол через худую крышу; под кучей тряпья спали на полу дети Степана; его жена Аксинья — изможденная, словно высохшая на солнце и ветру,— сидела с прялкой по другую сторону лучины. Пахло квашеным тестом, полынью, курным дымом. Бормотали во сне дети, промычал в сенцах телок.

¹ Нивари — землепашцы.



В последние месяцы Андрей часто заходил к Степану, и они еще более сдружились: говорили о своих делах и невзгодах, о плохом урожае, недоимках и падеже скота.

Бот и сейчас они сетовали на это же.

— Князь приказал мед, в лесу собранный, ему приносить,— злой скороговоркой сказал Андрей.

— Да что мед! На наших землях скот запретили пасти,— возмущенно сверкнула глазами Аксинья.— Скоро и рыбу ловить не дадут!

— Уже не дают,— мрачно подтвердил Степан.

Долго перечисляли они обиды и несправедливости.

И за всем чувствовалось то главное, о чем пока еще не упоминали, но что каждый держал в мыслях.

Первым начал Андрей.

Глядя на Степана прямым, открытым взглядом, он произнес порывисто:

— Мне дед Онисим сказывал: когда-то, в давние времена, в Киевском княжестве народ кровопийцу-князя Игоря порешил.

Степан промолчал, только посмотрел на Андрея внимательно, а тот продолжал:

— За ноги привязали к верхушкам осин, разорвали супостата надвое.

— Христианское дело свершили! — не выдержав, одобрил Степан, резко переворачивая бредень.— Бог не осудит, коли зверя кровожадного убьешь.

Они помолчали, словно прислушиваясь к однообразному жужжанию веретена. Тревожно метались по углам тени.

— В Тверском княжестве, сказывают, народ не только татар, а и своих бояр побил,— негромко произнес Андрей и поглядел теперь не на Степана, а на Аксинью.— И в Новгороде пожгли боярские дворы...

— Давно бы пора! — гневно повела черными глазами Аксинья, и пальцы ее заработали еще быстрее.— Страх берет: не было б Узбекова нашествия... Ну, да наш князь хитер да умен, отведет ордынцев.

— От его ума да хитрости виши как славно живем! — обвел Степан избу суровыми глазами.— На языке мед, а под языком лед. Что он, что Кочёва... Живоглоты!

— Верно! — живо подхватил Андрей.— Его неспроста Калитой прозвали, нашими слезами кошель свой набивает! — И, нахмурившись, уже медленно продолжал: — Надышь слыхал, подался князь в Орду, хана Узбека обхаживать: ярлык замыслил получить.

— Этот обведе-ет! — убежденно протянула Аксинья.— Может, полегчает, как от татар оградит. Баскаки б ездить перестали.

— Ярлык — то б и нам польза,— согласился муж.

— Без нас и от орды не оградит, а нам бы от него, обиралы, оградиться! — с горячностью воскликнул Андрей, и шрам на его лбу порозовел.— Степан Ефимыч,— продолжал он шепотом, пододвинувшись вплотную к Бедному,— поднять бы народ, перебить кровососов... Самое время ныне. Сила с князем ушла, Кочёва мешковат: пока соберется... А черные люди с Гончарной слободы поддержат. Я оттоль недавно... Перебьем волков, добро, что они у нас награбили, отымем, по правде поделим...

Дождь сек крышу все сильнее; потрескивая, чадила лулина; червь-древоточец точил стену.

ДЕД ЮХИМ

Селение, к которому подъезжал небольшой отряд Калины, оказалось десятью дворами на бугре. Трошак поскакал вперед — выбрать для князя избу почище да попросторней, и скоро Иван Данилович уже снимал сапоги в облюбованной Трошкой избе.

Бориска остановился возле ветхих ворот с крестом и образом у верхней перекладины. Из ворот вышел кряжистый дед в сермяжных заплатанных штанах, полотняной рубашке и берестяных лаптях.

Зеленовато-белые волосы облепили его голову и лицо, густо иссеченное морщинами. Дед был не стар, а древен, но меж морщин его ясно светились спокойные, мудрые глаза. Достаточно было глянуть в них, чтобы понять: никого и ничего не боится дед. И на Бориску смотрел он сейчас так, словно видел позади него что-то такое, чего другим не дано было видеть.

— Разреши, деда, на постой? — попросил Бориска громко, думая, что дед глуховат.

— Да ведь не разрешу — все едино станешь! — усмехнувшись, ответил дед и начал открывать ворота.

— Ах не разрешил бы — за двором под плащом заночевал! — весело ответил Бориска.

В глубине двора стояла приземистая изба из бревен, обмазанных глиной; к ней притулился хлев, сплетенный из жердей; правее избы виднелись низкий стог сена и колодец.

— Позволь, дед, коня накормить?

— Ну вот! — весело отозвался дед. — Только впусти, а уж и захозяиновал. Да шучу, шучу — бери!

Бориска привязал коня, вытащил из стога охапку сена, подложил ему.

— У тебя, деда, конь есть?

— Мы пешеходцы, — с горечью ответил тот. — Сироты... Заходи в избу, гостем будешь.

Парень деду Юхиму понравился: вежливый, видно, душевный.

Войдя в избу, Бориска снял плащ и огляделся. С детства знакомая картина: мох и пакля меж бревен, на окнах вместо слюды холстины, пропитанные маслом, в углу сноп — будет стоять до весны, на потолке оконце-дымница открыто. Посередине на деревянном помосте печь глинобит-



ная. В том месте, где дым выходит, потолок очадел, стал бурым. У стены глиняные горшки, оплетенные берестой, на деревянном ведре висит ковш. В избе чисто; даже лохмотья, валиющиеся на лавке, старательно вымыты.

— Садись, сынок.
Эвать-то как?

— Бориска...

Дед взглянул в лицо юноши, добро улыбнулся:

— Ну, стало быть, до конца борись-ка!

«Дедушка Лука точь-в-точь так говорил», — подумал юноша, и сразу на сердце стало тепло.

В избу вошли старуха и высоченный мужик в широких портах, с ведрами только что выкопанной репы.

— Внук мой единственный, Фрол, — кивая на него, сказал дед Юхим. — Было шестеро — моло́дец к молодцу, золотые руки, — да пятерых ордынцы увили при находе Берка.

— Неужто пережил ты все это? — воскликнул Бориска.

— Все пережил... Батыя видел... Да много ли в том радости — убийцу видеть, что засеял Русь костьми! Александр Невский через наше село проезжал — на Орду путь держал. Этот порадовал!

— Каков он? — встрепенулся Бориска, и глаза его загорелись.

— Светлый ум... — тихо сказал старик.

Он помолчал, словно боясь разговором отогнать дорогие ему видения.

— Помяни слово, сынок: сбросит Русь ордынцев... Неможно иго их терпеть, неможно! Рано ль, поздно ль, всем народом пойдем на них... Только б князья не грызлись меж собой, силы съединили. К Москве б жались — самим лучше было... Иван-то, Данилы сын, хозяин твой, хоть и шкуродер, прости за прямое слово, а понимает времена. В Орду наезжает с дальним умыслом...

Старуха зажгла лучину, стала возиться у печи. Фрол притих за перегородкой.

— И рад бы тя, Бориска, попотчевать, да, окромя щей, ничего нет,— с огорчением сказал дед Юхим.— Сам видишь наш достаток: одна овчинка — и та с плешишкой...

— Да сыт я...

— Сыт ли, гладен ли, а нетути....— Он сокрущенно вздохнул.— Раньше бывало: что есть в печи — на стол мечи. А теперь в печи пусто. Разве что щи... Маломочны стали. Татарам давай, князю твому давай, Протасию давай... А нонешний год — неурожай. В прошлый голод лист ели, кору березову, шелуху толкли, даже мох с соломой мешали. Псина на деревне вывелаась. Вон, слышишь... Одна-единственная осталась.

Бориска прислушался. В той стороне, где остановился князь, брехала собака.

— А бывало в сю пору,— глядя на юношу светлыми глазами, продолжал старик,— дед мой садится за стол — да-авно то было, еще до Батыя проклятого! — садится за стол с яствами, а яства-то снопами обставлены, и спрашивает: «Видите вы меня, чада?» — «Не видим», — молвим. «Ну, чтоб и на другой год не увидели!» — Дед Юхим помолчал, сказал с сердцем: — А теперь за боярами да за татарами ничего не видать! Поросла Русь печалью да нуждой...

Умолк, поглядел с опаской на Бориску: все же княжеский слуга.

— Не сторожись ты меня, деда! — страстно попросил Бориска.

Юхим усмехнулся:

— Ладно уж... Запомни, сынок: белые руки чужие труды любят. Бояре да воеводы нас не поят, не кормят, а спину порют. По какому божьему праву? Соль не под силу стало купить! А?.. Чего не придумают, лишь бы ободрать! За женитьбу приноси «выводную куницу», землю переписывают — давай «писчую белку», скот продашь — плати за клеймо. Один богатей меня ударил, бесчестье нанес. Я пожаловался. Меня отец Ивана, князь Данил, судил. А что вышло? Меня же избили да с меня же князю виру присудили. Если эти не грабежники, так кто тогда грабежники? — Глаза его сердито сверкнули из-под густых зеленоватых бровей. Опять помолчал. Подняв голову, промолвил с гордостью: — А мы-то живы, живы! Нас ничем не убьешь! Погляди вокруг: везде трудовой люд руками своими жизнь возводит. Кто победит его рукотворение?

Бориска вспомнил, как думал он сам об этом же, проезжая сегодня выгарью, и понимающе кивнул головой.

К столу подошел и сел молчаливый Фрол. Старуха поставила горшок со щами. Они вчетвером начали хлебать их.

За перегородкой раздались плач ребенка и женский раздраженный окрик:

— Цыть! Цыть!

— Правнук мой,— пояснил дед Юхим и тихо позвал: — Дуняша!

Молодая женщина, с круглым, в нежном пушке лицом, вынесла ребенка.

— Никак не уснет,— пожаловалась она, и ее большие наивные глаза просительно поглядели на деда.

— А ну давай его сюда, давай! — умело взял стариk в руки младенца, и тот мгновенно умолк.— Ты чего же лишай развел? — недовольно спросил дед у матери.— Гляди-кось, вот и вот... Смажь-ка дегтем немедля... Да камушек нагретый на брюшко ему положь.

Был дед Юхим целебником, приезжали и приходили к нему даже из дальних селений. Платы никакой он не брал, а коли спрашивали: «Как тебя за врачбу отблагодарить?» — отвечал неизменно: «Живи для людей, поживут люди и для тебя... Друг для друга — все нетуго».

В избу вошел Трошка. Обращаясь к Бориске, сказал:

— Князь тебя кличет! — и подмигнул дружески: мол, приятное ждет.

Трошка к Бориске льнул, как младший брат к старшему, старался во всем подражать ему, да не всегда получалось: непоседлив был, так и вертелся юлой, тараторил без умолку.

Бориска поднялся с лавки; улыбнувшись Трошке, провел ладонью по его голове «против шерсти», взвироши волосы. Трошка обрадованно замотал головой.

— Иди, иди! — напутствовал он и юркнул вслед за Бориской.

Отдохнув, Иван Данилович решил повечерять.

Трошка, доставая из походного ларца ломти медвежатины, сыр и домашнее печенье, раскладывал все это на расстеленном рушнике. В избе запахло мясом и свежими яблочками.

— Лови, пострел! — кинул румяное яблоко хозяйскому золотушному сыну Иван Данилович.

А Трошка уже извлек фряжское вино в баклажке, чарку из сердолика и, окинув хозяйствским глазом стол, удовлетворенно сказал:

— Хошь гостей принимай...

— А и впрямь... Покличь Бориску! — приказал Иван Данилович.

Человек осторожный и недоверчивый, князь тем не менее питал к Бориске какую-то особую слабость, хотя и редко допускал его к своим мыслям. Нравилась удаль Бориски, его бесстрашие, умение складывать песни («Гляди, и меня там помяннет! Я прахом стану, а слово останется»). Но не терпел в характере Бориски беспощадную правдивость: юноша безбоязненно говорил ему прямо в глаза все, что думал, о чем другие не осмелились бы сказать, и эта бесхитростная, по-детски ясная прямота сердила князя. «Рассуждает не по достатку,— не однажды думал он.— Напрасно мирволю ему».

Бориска постучал в дверь князевой избы.

— А-а-а, песнотворец! Входи,— приветливо поглядел князь.— Садись, потчуйся. Вишь, мне княгинюшка в путь сколь добра припасла!

Бориска, стесняясь, подсел к столу. Трошка где-то задержался во дворе.

Они выпили по чарке-другой. Заморское сильное вино сразу ударило Бориске в голову, и он быстро охмелел.

— Спой,— попросил его Иван Данилович и, откинувшись на лавку, привалился спиной к стене.

А Бориска и рад — залился соловьем о родной стороне, о Москве-матушке, что милее всего, и вдруг на полуслове умолк, вспомнив рассказ деда Юхима.

— Дозволь, княже, слово молвить? — глухо попросил он, и лицо его стало сумрачным, сквозь загар проступила бледность.

— Сказывай,— разрешил князь и насторожился.

— Может, и не моего ума се дело, да хочу допытаться: пошто так скудно смерды живут? Пошто ниварь голодает?

Юноша смотрел открыто, доверчиво ждал ответа.

— Я не облегчитель! Все от бога,— холодно сказал князь, нахмурившись. И, резко оборвав беседу, приказал: — Ну, поди спать, наговорились!

Досадливо подумал: «Лучше бы не звал!»

...Темень — хоть глаз выколи. Казалось, весь мир погрузился в эту кромешную тьму. Слышно, как жуют овес кони. Пахнет теплым навозом и недавно прошедшим дождем. Хмель у Бориски исчез, будто и не было его. Юноша пошел к избе Юхима.

Далеко впереди ветром разогнало тучи, и по небу прокатилась звезда, упала в стороне Москвы.

«Земля-то наша сколь велика! Конца-края нет... И народ — богатырь. Любой татарина осилит. А содружности мало... И справедливости нет...» — думал Бориска.

Во тьме заскрипела уключина колодца, заплескалась вода. «Надобно левее брать,— сообразил Бориска и, взяв немного в сторону, продолжал размышлять: — Вот читал я «Поучения Владимира Мономаха». Написано: «Кругом все исполнено чудес и доброт. Солнце и звезды, птицы и рыбы, свет и тьма — не все в един образ, каждый свое лицо имеет, и все дивно, все то дано на угодье человекам». На угодье! А кругом бедность какая... Пишет: «Не заводи беззакония». А где он, сей закон?»

И прежде возникали у Бориски эти мысли потаенные, мучили его. Но сейчас, после разговора с дедом Юхимом, все стало еще яснее и оттого беспокойнее.

Бориска нашел своего коня, достал в торбе натертую чесноком краюху ржаного хлеба — решил отнести ее деду Юхиму.

В сенях не сразу нашел дверь: рука натыкалась то на грабли, то на кади. Дед не спал, что-то строгал возле горящей лучины. Обрадовался, что Бориска возвратился, что позаботился о нем, старике. Словно извиняясь, сказал:

— Сам лечу, а от хвори не сплю. Одолевает. Кости ссохлись, трясовица ломает... Входит-то болезнь в нас возами, а выходит лукошками.— Видно, недовольный своими жалобами, бодро добавил: — Переможусь!

— Сон развеяло,— садясь рядом со стариком, признался Бориска и, скрестив на столе руки, положил на них голову.

— Ну, и посидим полуношниками. Хочешь, расскажу тебе, как город Переяслав возник?

— Расскажи, дедуся.

— Было то давно...— начал неторопливо, полушепотом старик.— Жил в дальних краях отрок Переяслав. Кожемякой его прозвали, потому что однажды во время работы рассерчал он и разорвал кожу руками, **такой силы** чело-

век... Но вот дошло дело до единоборства с Печенегом. Отрок Переяслав оторвал Печенега от земли, до смерти удавил в руках и ударил им оземь...

Бориска сидел, устремив глаза в темный угол избы. Перед ним вставала картина за картиной, и ему чудилось, будто все это с ним свершается: он душит татарина, бросает его под ноги и земля вздыхает радостно.

...Так в эту ночь и не сомкнул глаз Бориска. На зорьке он покормил коня, оплеснул водой лицо и вышел за ворота.

Выпала сладкая, медвяная роса; солнце подсушит — выступит ржою. Нежно заалел край неба у леса.

Через дорогу вперевалочку брели к реке утицы. От реки веяло утренней свежестью, доносились тонкие звуки посвистели. Горьковатый дым кизяков поднимался из соседнего двора, стелился над землей.

«Родная сторонка, земля светлорусская! Нет краше и лучше тебя, так бы любовался и любовался тобой...»

Бориска глубоко вдыхал чистый, опьяняющий воздух, восторженными глазами глядел кругом: воистину все дивно и свое лицо имеет!

Из соседних ворот вышла смуглолицая девица с коромыслом через плечо. «До чего ж хороша купава!¹» На ногах роса сверкает, лицо румяно. Повела на Бориску черными очами — словно полымем обожгла. Хотел заговорить, да раздумал. К чему? Мало ли красивых на свете, а сердцу одна мила. Встало улыбчивое лицо Фетиньюшки: меж губ зубок острый неумело лег. На ногах сапожки на подборах высоких. Все-то любо в ней...

Ему так захотелось положить свою голову сейчас на колени Фетинье и смотреть, смотреть на нее без конца, смотреть на детские губы, на милую улыбку...

А девица с коромыслом уже скрылась в другом дворе. Запела голосом нежным и тихим, словно бы укоряла, или звала, или ждала: не ответит ли песней?..

Бориска возвратился в избу. Фрол уже встал, перебирал бредни.

— Пойдем рыбу ловить? — предложил он густым, хриплым голосом.

— Пойдем.

Они остановились на берегу. Сквозь синие с золотой гривой тучи, как из колодца, проглянуло солнце, и на реке

¹ Купава — красавица.

возникло золотое озерцо. Оно росло, приближалось к берегу, и вот мелкие волны заблестели так, будто близко к поверхности проходил огромный косяк золотых рыбешек...

Часом позже, когда проснулись воины отряда Калиты, на берегу, на белой каемке песка, горел костер. Над котелком струился дымок, и Бориска, веселый, с портами, подкатанными до колен, кричал издали чумазому вертлявому Трошке, призываю размахивая руками:

— Айда уху пробовать! Трошка, айда! Навались!

Речной ветерок ласкал его золотистую бородку, перебирал выгоревшие на солнце волосы.

Трошка подбежал, радуясь, что увидел Бориску, что они вместе у реки, что светит утреннее солнце. На отроке была крестом вышитая легкая рубаха, из-под ворота виднелась тонкая шея.

— Рубаха-то у тебя ладная,— мягко улыбаясь, сказал Бориска, зная, что похвала эта приятна Трошке.

Они с таким нетерпеливым ожиданием склонились вместе над котелком, так жадно вдыхали запах свежей разваренной рыбы и лука, что даже угрюмый Фрол пошутил:

— Ну, други, доставайте ложки поболе! — И по его мрачному бородатому лицу непривычно скользнула скучающая улыбка.

У КУРГАНА

На двадцать седьмой день водного пути, объезжая камень-одинец, вокруг которого яро бурлила вода, ладьи близко подошли к берегу и попали под обстрел бродячей орды. Несколько стрел впились в щиты, а одна — в щеку широкоплечего, медлительного Демьяна. Он сейчас мучился, лежа с перевязанным лицом на носу ладьи.

В самый солнцепек решили сделать привал. Когда до берега оставалось локтей¹ пять, Бориска первый выпрыгнул из ладьи, подтянул ее по песку и взбежал на бугор.

Перед ним расстилалась могучая степь: шелковистыми волнами ходил сизый ковыль, подступал к высокому кургану; весело порхали бабочки-пестрокрыльницы; дымчатый рябчик нырнул и скрылся в густой траве; пронзительно,

¹ Лόкоть — мера длины.

жалобливо прокричала неподалеку желтоглазая, на высоких ножках авдотка и улетела прочь, а вслед за ней низко над землей замелькала зеленоватой грудью и темными полосами на крыльях сизоворонка.

— Красота-то какая! — восхищенно прошептал Бориска и замер, положив руки на бронзовую пряжку пояса, привычным задорным движением откинув русую голову назад.

Степь была знойной, бескрайней — просилась в песню. Кругом тишина. Только посвистывал суслик, высунувшись из норы, да высоко в небе парил беркут. Он наметил добычу и, сужая круги, камнем стал падать на землю. Выхватив из колчана перёную стрелу, Бориска в мгновение выпустил ее, и беркут с хриплым клекотом упал на траву, несколько раз пытался взлететь со стрелой в груди, но, обессиленный, мертвое застыл у кургана.

— Ловко ты это, ловко! — появляясь рядом с Бориской, восхищенно воскликнул Трошко.

Он снял шелом, ладонью вытер взмокшие волосы.

— Я за ним сбегаю, — с готовностью предложил Трошко и, оставив шелом у ног Бориски, по-мальчишески подпрыгивая, побежал к кургану.

Трошко успел добежать до него и поднять беркута, когда вдруг из-за кургана выскочили до двух десятков татар на низкорослых лохматых конях. Они вмиг окружили Трошку:

— Закон осквернил!

— Убить его!

— Осквернил! — бесновато кричали татары на своем языке и, выхватив сабли, начали рубить Трошку.

Бориска бросился на выручку:

— Стой, дьяволы, стой!

Его вмешательство было таким неожиданным и бесстрашным, что поразило даже татар. Они окружили Бориску.

— Ты кто? — прохрипел татарин в рысьей шапке, с арканом в руке, склонив над юношей свирепое лицо.

Бориска смело посмотрел в злобные щели его глаз, гордо сказал:

— Мы — московитяне...

От берега бежал воин, кричал татарам:

— У князя проезжая грамота! Эй, пайцза хана!

Татары поскакали к берегу. Иван Данилович, сидя



в ладье, протянул пайцзу — на золотой пластинке дрались два тигра. Пайцза приказывала во всех землях выдавать ее владельцу лошадей, корм, провожатых.

Не дешево, ох, не дешево досталась эта пайцза Калите! Всадник, возвращая ее, покровительственно улынулся:

— Зачем птицу молодую твой воин убил? Не надо. Закон нарушил...

Татары повернули коней и так же быстро, как появились, исчезли. Снова наступило безмолвие. Только стрекотали кузнечики да у кургана в луже крови лежал истерзанный Трошка.

Его похоронили здесь же, вырыв могилу мечами, и, молчаливые, угрюмые, поехали дальше.

«Вот и нет Трошки...» — думал Бориска, опустив руку за борт, в воду. Пережитое им самим отошло прочь: ему до слез жаль было юнца. Остались у Трошки в Москве старуха мать, сестренка лет семнадцати да старшая — в Подсолненках. «То-то убиваться станут,— горестно думал Бориска.— Сколько наших уже погибло так...»

По берегам виднелись сожженные города, поросшие леском; селения с вырубленными садами, обуглившимися балками строений.

На мгновение представилась Бориске вся неоглядная Русь. Истоптанная копытами вражеской конницы, иссеченная плетьями, опутанная вервиями, лежала она, кровоточа, с трудом сдерживая стон, готовый вырваться из могучей груди.

Русь возлюбленная! Как уменьшить муки твои? Как омыть раны, освободить от впившихся в тело пут?

Кабы знал, ничего не пожалел для этого, ничего не устрашился бы, только б тебе принести облегчение!..

Бориска тяжело вздохнул.

Чем ближе к Орде, тем явственнее виднелись следы татарских набегов. Но и среди этого разора, меж пепелищ, неистребимо копошились люди, и Бориска вспомнил слова деда Юхима: «А мы-то живы, живы!»

Насупившись, сидел в ладье князь.

«Ну, что сейчас сделаешь? Вот так налетят, сомнут... Умный муж бывает не только на рати храбр, а и в замыслах крепок. Дед Александр великим стратигом был. И мне его дело продлить надобно. Пока русская земля не готова к схватке, не уйти от тяжкого соглашения. Может, только в том и заслуга моя, что разгадал я время и понимаю, как надобно действовать».

Эта мысль поразила его самого.

«Да, да, разгадать время! Вершить то, что подсказывает жизнь. Под спудом зреют силы неодолимые, но измождена Русь несогласьями. Спасение ее — в укреплении власти единой. В подлой Орде смирением надо скрыть, что меч куем...»

Могучая река катила волны, бережно несла на плечах своих московский караван.

ФЕТИНЬИНА ТОСКА

Фетинья в холстинном платье «без стана» стремглав миновала переходы, просторные сени и, выбежав во двор, устремилась к конюшням — только замелькали алые ленты в девичьих косах. За Фетиньей едва поспевала ее подружка Ульяна, девка-недоросток, тяжело сопя, переваливалась на чурбашках ног.

Подружки пересекли задний двор Кремля, оставили позади хлева, птичники, сушильни, откуда доносился запах вяленой рыбы и соленой говядины, и очутились у конюшни.

Фетинья быстрым движением поправила кольца, нашибые у висков на шапочке, и приоткрыла дверь конюшни. В полуутьме пахло конским потом, слышен был перебор копыт. Глаза привыкли к темноте, и Фетинья разглядела в углу конюха Митицу: он перевешивал хомуты.

— Дяденька Митица,— сладеньким голосом пропела Фетинья,— дозволь конем поворожить.

Митица, добродушный нескладный мужик с длинными, словно грабли, руками, оторвался от работы, повернулся к девушке лохматую голову.

— Это ж как ворожить будешь? — отечески улыбнулся он, добро глядя на Фетинью.

— Через бревно проведу! — быстро ответила девушка, но не сказала, что задумала: если конь за бревно ногой не заденет, будет Бориска мужем хорошим.

— Да бери любого,— разрешил конюх любимице.

Фетинья жарко прошептала подружке:

— Какого выводить?

Ульяна захлебнулась от волнения:

— Буланого, что с краю!

Фетинья подскочила к коню, потащила его к выходу. Рядом с конем она и вовсе стрекоза стрекозой, только в глазах зеленые искры. Тут же, у конюшни, и бревно лежало. Фетинья торопливо перекрестилась и повела коня через бревно. Он неохотно шагнул, зацепился задней ногой.

Ульяна ахнула, захихикала: .

— Муж злой будет!

Фетинья рассердилась, даже ноздри раздулись.

— Бабы брехни! — решительно сказала она и повела коня в конюшню.

Подружка рядом семенила, удивлялась:

— Да ты ж сама сказывала...

У Фетиньи злость прошла. Озорно подмигнула Ульяне, облизнула языком губы, уже весело сказала:

— Ясно ж — брехни,— и пошла в хоромы.

Здесь скучища. Женщины белят, красят лица, выдергивают, сурьмят брови, лепят на лицо мушки. К чему это пустое дело?

Фетинье не по сердцу праздность. В прачечной лучше было, чем теперь, когда стала постельницей.

У княгини в ларце хранились — Фетинья украдкой разглядела однажды — белильница, румянница, склянки-ароматницы, бусы из хрустальных зерен.

Красотой считали уши длинные. Чего-чего только не делали, чтобы вытянуть их!

А вот она не хотела — пусть маленькие будут. Бориске и такие любы!

Села рукодельничать: вышивала тайно рубаху Бориске красной пряжей по косому вороту, подолу и на зарукавьях. Думала: «И цветной опоясок сделаю». Но не работалось. Скучно, тоска томит. Нет веселья и покоя... Сенька, козлоногий, все пристает да пристает. Зачем он надобен? Вчера, чтобы подразнить, назначила к вечеру свидание: «Жди под окном — выйду». А сама сверху опрыскала дуралея водой из ковша. Веселее не стало. Туго на сердце, тяжко. Где Бориска, что с ним сейчас?..

На верху терема, в клетушке рядом с горницей, тихо. Фетинья, распахнув створку окна, села с ногами на подоконник.

Смркалось. Сонно проворковали голуби под стрехой. Темнела в вечернем небе звонница ближней церкви. Со двора доносились голоса еще не угомонившихся ребятишек. Стая грачей с громким криком поднялась над высоким деревом в гнездах и снова опустилась, удобнее устраиваясь на ночлег.

Фетинья задумчиво смотрела вдаль, вспоминала, как видела в последний раз Бориску: ехал неподалеку от князя, увозил ее покой. А сейчас он за тридевять земель, в царстве злого Азбяки. Что делает? Думает ли, скучает ли по ней? Может, поганые уже убили его, и кости Бориски точат вороны, и мягкие кудри истлели?..

Слезы застлали глаза. Она тихо запела, прислонив голову к раме:

Я в те поры
Мила друга забуду,
Когда подломятся
Мои стары ноги,
Когда опустятся
Мои белы руки,
Засыплются глаза мои
Песками...

Еще сиротливей стало на душе. Горемыка она, горегорькое! Нет у нее ни отца, ни матери, есть только любимый Бориска. Да и тот вернется ли к ней снова?..

И она запела громче, сетуя:



Без тебя я —
Тонкая береза,
Белая, кудрявая —
Сиротка!
Меня солнышко
И месяц не греют,
Частые звезды
Не осыпают.
Только крупные
Дожди поливают
Да ломят
Буйные ветры.

Внизу, мимо окон светлицы — Фетиня не видела его,—увальнем прошел рудый Сенька. Один и другой раз. Услышав песню, так растянул рот, что широко открылись красные десны. Но и у него на сердце стало тоскливо. «Чем я ей не жених?» — с недоумением прошептал он, еще повертелся под окном и поплелся пить пьяный мед.

Фетиня сидела долго, пока совсем не стемнело. Загорелись на небе большие, яркие звезды. Она почувствовала себя такой маленькой в этом неуютном мире, что, не выдержав, соскочила с подоконника, юркнула на лавку под укрывало. Свернувшись калачиком, сказала себе: «А теперь стану только о любом думать!»

Память ничего не погасила — все сохранила... Вот Фетиня с Бориской вышли к солнечной поляне, поросшей густой травой. Они сели на два пенька рядом, молча глядели на синюю стену бора, видневшуюся меж стволов ближних осин...

И эта яркая изумрудная трава, и птичий голоса, доносящиеся издалека, и всплески весел в озерке за бугром — все это было частью их тихой радости. В их глазах можно было прочитать: «Как щедра к нам жизнь! Как мы счастливы!»

Они поднялись и пошли дальше.

Их привлекла к себе открытая дверь кладбищенской изгороди. Словно чувствуя неловкость за свое счастье перед

теми, кто лежал под тяжелыми погребальными плитами, они шли узкой тропой меж могил. Солнце скрылось. Багряные гроздья рябины стали почти черными. Приветливо подмигивали, пролетая от куста к кусту, светлячки. Прокрипели за оградой колеса воза. И случайно или нет — Фетинья до сих пор не знала этого — губы юноши коснулись ее щеки.

Они долго стояли рядом у могильного камня, повернувшись к нему спиной, глядели на темнеющий вдали Кремль, не смея больше прикоснуться друг к другу — и все-таки очень близкие...

Фетинья еще туже свернулась калачиком. «Кирпа моя, кирпуля!» — ласково прошептала она в темноте. Так называла она Бориску. Слово это завез в Москву гость из Киева, и значило оно — курносый.

«Не согласится князь на замужество наше — уйду за Бориской куда глаза глядят! — думала она. — Я ведь вольная. Никто не сумеет нарушить любовь нашу. Лучше в лаптях ходить, а не в сафьяне, только с тобой, Борисонька! В дерюге, а не в багрянце, да с тобой, желанный! Воду, а не мед пить, да в твоем дому... Сама тебя выбрала, как сердце подсказало, и никто мне здесь не указчик. Буду тебе верной подругой, не замуравит дорожка к сердцу твоему... Тяжко мне, ох, тяжко без тебя! Сенька краснорожий пристает, княжич Симеон тенью ходит, издали все поглядывает — туда же, птенец желторотый! Сегодня, как ушел, след его веником замела, чтобы не приходил боле... Знай, Борисонька, дождусь тебя!»

Она взяла в зубы край укрывала, натянула его и так уснула.

САРАЙ-БЕРКЕ

Иван Данилович въехал в ханскую столицу Сарай-Берке в полдень.

Долгий изнурительный путь утомил князя и его небольшой отряд, но город не сулил отдыха. Земля накалилась, походила на запекшиеся, потрескавшиеся губы.

Изредка по ясно-голубому небу проползала, не отбрасывая тени, прозрачная тучка, и снова ослепительно чистое небо источало зной.

Татары в городе встречались редко — были на кочевье.

Зато на каждом шагу попадались византийцы, черкесы, сирийцы, монголы.

— Из Таны в Астрахань я ехал на волах двадцать пять дней... — немного заикаясь, говорил, переходя улицу, худосочный, с редкой бородкой фряжский купец стройному, высокому арабу в чалме.

— Зачем посыпать за шелком в Китай, если можно за-купить его здесь? — с недоумением спрашивал его араб, неторопливо передвигая длинные, как у цапли, ноги.

Калита, прислушиваясь к фряжской речи, усмехнулся: «Учуяли наживу! Надобно их к нам привадить!»

От реки на повозках и арбах верблюды тащили в город воду в глиняных кувшинах. Вдогонку кобылице побежал с тревожным ржаньем тонконогий жеребенок.

За несколько лет, что не был московский князь в Сарай-Берке, город неузнаваемо вырос, обстроился дворцами, мечетями, складами.

Стены домов сделаны были из голубого камня. В этой голубизне сказочно цветли красно-желтые цветы, выложенные из камня же искусными руками пленных мастеров. Ханский дворец — с золотым серпом на верхушке — пустовал. Узбек со всем двором выехал за город, в Золотой шатер.

Шесть десятков лет назад основал хан Берке этот город, и вот каким он стал. «Москва через столько лет краше будет», — успокаивая себя, думал Иван Данилович, шагая с Борисской широкой улицей.

Они миновали монетный двор, ханские мастерские, прошли вдоль городского вала со рвом, переправились через канал и вышли к базару.

Лениво обмахивались ветвями греки в скучной тени редких деревьев. Густая пыль обволакивала медленно тянувшийся караван кипчаков; нехотя скрипели телеги, утомленно звенели бубенчики, гортанно покрикивал погонщик, похожий на обуглившуюся головешку. Понурив голову, плелись огромные бараны, с трудом тащили свои тяжелые кудюки.

На площади, покрытой рундуками, возле еще не погруженных тюков с товарами для дальних стран, лежали бурыми грудами косматые двугорбые верблюды.

Оглушительно ревели быки, ржали кони, приготовленные для отсылки в Индию. Пахло пряностями и дубленой кожей.

Восемь лошадей тащили на широкой, по-особому сбитой телеге большой медный колокол. Бориска увидел его, и глаза разгорелись: «Ух, хорош! Такие дедушка Лука лил...» Сразу пахнуло детством. Показалось, ступил на порог мастерской, ощутил запах дыма.

— Кто сработал? — спросил Бориска, идя рядом с телегой, у погонщика в широкополой шляпе.

— Римский великий маэстро Бартанелло,— прошел надменно сквозь зубы погонщик.

Бориска даже не обратил внимания на то, как ответил спесивец,— неотрывно глядел на колокол: наверно, отлит был для православной церкви в Сарае.

— Я бы уже такие лил! — невольно вырвалось у Бориски, когда он возвратился к Калите.

— Затосковал кулик по своему болоту,— пошутил князь.

Телега с колоколом, натужно скрипя, медленно проползла дальше.

Побывал Калита у купцов сирийских, переговорил, чтоб товар в Москву подвезли, потолковал в торговых рядах.

На высоких стойках выстроились серовато-зеленые чаши, покрытые глазурью, с птицами и звездами на дне; хитрые замки; изделия из бронзы. Калита взял один замок, дужка с пружинами melodично звякнула. «Московской работы,— с гордостью подумал он,— попробуй отопри! Недаром еще Геофил писал: «Руссия славится ремеслами...» Выкупить мастеров, что здесь. Особливо ювелира Парамшу».

Мимо проплыла знатная татарка, шелестя шелками, величаво покачивая павлиньими перьями на головном уборе,— двумя руками тот убор не обхватишь. Татарка скрылась в дверях, обитых цветным войлоком. Калита только причмокнул вслед, насмешливо подмигнул Бориске: «Ишь щепетливая¹».

Невольно вспомнился Алексей Хвост. «Тоже щеголь: на плечи под одежду деревяшки подкладывает, чтобы выше казаться. Чем у человека ум занят!»

Калита пошел дальше, привычно оценивая глазами ткани, ощупывая кожу, выступивая посуду. Любил этот неторопливый, хозяйский осмотр. Над ухом прокричал купец-сириец:

¹ Шепетливая — франтиха.

— Есть московский товар! Кольчуги, панцири! Где такой тонкий работа найдешь?

Калита довольно прищурил глаза: «Старается!» Задержался у прилавка с царьградскими товарами — больно пригляделось узорочье: львиная голова по золотому полю. Долго гладил материю ладонью, пробовал прочность. Будто советуясь, спросил Бориску невинным тоном:

— Может, стрекозе возьмешь? Должно, подойдет.

Бориска вспыхнул: знает! Молча, взглядом одобрил товар. С нежностью подумал о Фетинье:

«Что моя зоренька сейчас делает?»

Калита еще помял материю.

— Почем? — обратился он наконец к маленькому черному греку.

— Пить рупль... Пить,— поясняя, растопырил пальцы грек.

Калита положил на прилавок товар, даже торговаться не стал. Сердито поджал губы:

— Не по нас... не по нас, Бориска. Удача у хана будет — не оставлю и тебя без подарка,— пообещал он.

Отходя от грека, добавил шутливо:

— Захотели два калики¹ село купить, стали складчину считать: у одного корка сухая, у другого гороха горсть...— Но вдруг резко оборвал: — Языком двою!.. Деньги есть, да на другое, поважнее, надобны!

При выходе с базара князь и Бориска натолкнулись на трех подвыпивших монголов. Один из них, плотный, с кривыми толстыми ногами и одутловатыми, словно от осиных укусов, щеками, оставил своих товарищей и, размахивая руками, злобно кривя рот, двинулся на князя. Подойдя вплотную, закричал:

— Урусут, собака, дорогу монголу!

И, выпятив грудь, положив ладонь на изогнутую рукоять меча, начал наступать на Ивана Даниловича.

Князь, забыв о том, где он, зачем приехал, схватил оскорбителя сильными пальцами за глотку, сдавил так, что тот захрипел, роняя слону.

Блеснул нож в руке Бориски.

Шаражнулись в сторону два других монгола, визгливо заголосили:

— Урусуты монголов бьют!

¹ К а л й к а — нищий.

Вокруг князя и Бориски сразу возникла стена недобрых скуластых лиц. Князь отбросил от себя монгола, и тот, вреща, покатился по земле. Князь затравленно огляделся. Мелькнула мысль: «Вот и завещание пригодится!»

Бориска спиной прислонился к спине Ивана Даниловича, сжал в руке клинок. Глаза сверкнули отчаянной решимостью. Сказал мысленно: «Прощай, Фетиньюшка!» На мгновение возникло морщинистое лицо деда Юхима: смотрел, ободряя.

В это время позади толпы остановился проезжавший мимо возок. Из него выглянул тучный знатный ордынец. Калита узнал в нем знакомого тысячника Байдеру, что часто приезжал в Москву, получал богатые подарки от московского князя.

Узнал и тысячник Ивана, гортанно крикнул, поднимаясь с сиденья:

— Что случилось, конязь?

— Хмельные напали,— спокойно ответил Иван Данилович и еще более выпрямил спину.

Тысячник, рассекая возком присмиревшую толпу, подъехал ближе, приказал повелительно татарам:

— Прочь! Эй, прочь!

Толпа глухо ворча, недовольно отхлынула. Тысячник, обращаясь к Ивану Даниловичу, спросил любезно:

— Давно из Москвы? К нам зачем приехал? — А в голосе слышалось: «На подарок надеюсь».

Бориска бросил клинок в ножны, вытер рукавом пот со лба. Ярость затухла в его глазах.

...Под вечер к московскому князю зашел молодой купец Сашко. Глаза у гостя зоркие, быстрые, держался он смело, но скромно и всем обликом своим очень походил на Бориску, только был выше его и старше. При людях Калита говорил с молодым купцом о торговых делах, а оставшись наедине, начал расспрашивать о житье в чужой стороне.

Жил Сашко здесь вот уже шесть лет, торговал московским товаром. Тосковал по родной стороне, по снегам русским, синему бору за Москвой, тосковал так, что порой выть хотелось. Бросил бы все и бежал! А нельзя — дело ширилось, крепло.

— Торговля идет ладно, а на рожи татарские не глядел бы,— бесхитростно признался он.— Сил нет, тянет на Москву уйти, по речи нашей соскучился!

— Да и понятно то,— задумчиво произнес Иван Дани-

лович, и глаза его подернулись грустью.— Даже птица, как улетает на зиму в чужие края, не поет там, птенцов не выводит...— Помолчав, твердо сказал: — А торговать здесь надобно. Всему княжеству польза, не токмо тебе.

— Да я что,— печально ответил Сашко,— знамо, надо...

Расспросив о семье, о том, как думает дальше вести дело, Калита наконец подошел к главному:

— Не слыхал, смуты при дворе Узбека нет ли?

Сашко, сожалея, сказал:

— Крепок еще... Задружил с папой Венедиктом Двенадцатым. Тот недавно в Орду приезжал. Узбек хвастал перед ним: стрелы свистящие показывал. При полете устрашают... Жениться собирается на дочери византийского императора Андроника.

— Здоров ли? Весел?

Сашко простодушно удивился: с чего вдруг князь о таком спрашивает?

— Здоров, как бык, да жиром заплыл. И ум заплыл. Самомнитель возносливый! Каждое слово свое считает великой мудростью. В праздности да в роскоши живет...

Калита приспустил веки, слушал, будто не придавал всему этому значения, а сам же отмечал: «Сие нам на руку. От праздности леность да скучность ума приходит. Видно, победы в плетениях хитроумных вскружили Узбеку голову. А самоуверенность к гибели приводит».

Сашко продолжал:

— А нахваливщик! «Я великий, я то свершу, я се...»

Калита усмехнулся:

— Хвастать — не косить: спина не заболит.— И, словно продолжая пустую застольную беседу, полюбопытствовал: — А ханша как? Здорова ли? Что любит?

Калита знал, какую большую силу имеет ханша в Орде.

— Тайдула? — с презрением спросил купец.— Жрунья! До того чревоугодна — лопнет скоро. На лесть падка. Любит, чтоб величали многоречиво и подарки подносили.

«Надо ей руки наполнить. Сам принесу меха», — решил Калита.

— Из дворцовых кто в сile? — спросил он.

— Киндяк! — воскликнул молодой купец.— А и лукав сей Киндяк! Но полезен... И посол египетский полезен, в почете у хана, при дворе бывает...

...К ордынскому вельможе Киндяку Калита пошел на следующий вечер. Киндяк оказался мужем полным, почти квадратным, с лицом широким, как блюдо. Люди сказывали: чтобы сердце не разорвалось, лечился — бил ему на руке жилу сокол, выпускал лишнюю кровь.

Щедрые подарки Калиты Киндяк принял милостиво. Потирая пухлые руки, повторял скороговоркой: «Осень приятна, осень приятна» — и щурял пройдошлиевые, закисшие глаза.

— А сие, будь ласков, передай царевичу Чанибеку,— попросил Калита, протягивая тяжелый золотой кувшин в виде петуха.

— Передам, передам! Осень приятна, мы твоя друзья... — и хлопал Ивана Даниловича обещающе по плечу.

Калита глядел на него простодушно, а сам думал: «Экий красавец! Под носом румянец, во всю щеку лишай», и почтительно кланялся.

Собираясь к Тайдуле, князь достал дорогой каftан из тафты; сзади, у затылка, пристегнул козырь — высокий парчовый воротник, расшитый жемчугом.

И Бориске приказал принарядиться. Тот надел синий каftан, отчего глаза его стали еще более синими, натянул лучшие сапоги: носы — шилом.

Калита разгладил мягкую бороду, прищурil глаза:

— Сущие женихи...

Бориска, весело рассмеявшись, тоже огладил подстриженные под скобу волосы, отставил в сторону ногу, полюбовался сапогом:

— Под пяту — хоть соловей лети, а кругом пяты — хоть яйцо кати!

И вдруг помрачнел: мог ли предполагать, мечтая в детстве о ратных подвигах, что придется идти на поклон к ханше, кланяться раскрашенной кукле! «Чего не сделаешь для отчины», — подумал он.

Лютко ненавидя врага, готовый в любой час схватиться хотя бы с сотней, Бориска тем не менее старался найти оправдание действиям князя.

На московской речной пристани, в сутолоке базаров, среди обитателей Посада и Подсосенок не однажды приходилось Бориске слышать, что князь своей изворотливостью отводит Орду от Москвы.

Юность не терпит рассудительности и обходных движений там, где, по ее разумению, пусть даже с риском для



жизни, можно пройти прямо. Если бы это зависело от его желаний, Бориска, конечно, не ездил бы в Орду, не гнул голову перед татарами. Но, верно, князю виднее, как следует держаться, и Бориска заставлял себя при встречах с татарами не сжимать пальцы в кулаки.

Калита достал из дорожного сундука татарский колпак. Надев его, вмял поглубже верх — татары любили видеть такую вмятину, она означала смиренное покорство.

Тайдула принимала Калиту в своем шатре. Ее подрисованное, покрытое густым слоем белил широкое лицо было бы даже приятным, если бы не почерненные лаком зубы. Брови ханши так высоко вскинуты над щелками глаз, что кажется, она непрестанно удивляется. Полные, в кольцах руки покоятся на расшитом шелковом халате.

«Хвалят на девке шелк, коли в девке толк», — насмешливо подумал Калита и, кланяясь, приблизился к Тайдуле, а Бориска положил возле нее подарки.

Нисколько не смущаясь, Тайдула тут же начала перебирать поднесенные Калитой меха и мягкую рухлядь¹. По широкому лицу Тайдулы разлилось удовольствие.

— Счастлив поклониться мудрой жене Узбек-хана, сы-

¹ Мягкая рухлядь — меховая одежда

на Туругун-хана, сына Менгү-Темир-хана, сына Баты́-хана, сына Джучи́-хана, сына Чингис-хана...

Тайдула, кивая головой, снисходительно смотрела на Калиту.

— Всегда служу тебе верой и правдой... — продолжал он.

Ханша важно сказала:

— В будущем свете, на пути в рай, наши руки удержат за одежду неверных нам...

Помолчала и добавила, одобрительно поглядев на вмятый колпак Калиты:

— Тебе верю и ценю. Во всем помогу...

Знал Калита: влиятельна ханша, сама кое-кому ярлыки выдает, вон и золотой перстень-печать на пальце у нее, на перстне дракон высечен.

Тайдула стала жаловаться на нездоровье — глаза болят.

Калита сочувственно вздохнула:

— Я тебе излечителя пришлю, как рукой снимст...

Ханша милостиво улыбалась.

На следующий вечер Калита с несколькими слугами подошел к высокому дому египетского посла Ала-ад-дина Айдоглы и остановился у массивной двери.

Постучав кольцом-ручкой о бронзовую пластинку, он подождал, прислушиваясь. Дверь приоткрыла худой, как жердь, слуга; узнав, что перед ним московский князь, провел его в высокую комнату. Слуг своих Калита оставил внизу.

Навстречу Ивану Даниловичу шел хозяин — воистину «оладьяна подгорелая», расплылся в теле и черен. А одет богато — один пояс золотой с каменьями чего стоит. Сыпал Калита: посол сей влиятелен и вельми¹ мудр; логику и медицину изучал. Послушаем, посмотрим...

Они долго сидели за столиком друг против друга, неторопливо беседовали по-латински, ели фрукты в сахаре, запивали холодным сладким напитком, от которого тяжелели ноги, а голова сохраняла ясность.

— Хитер Узбек, трудно с ним ладить, — жаловался Ала-ад-дин Айдоглы, испытующе глядя на Калиту, словно спрашивая: «Согласен ли? Как мыслишь?»

¹ В ельми — очень,

Иван Данилович помолчал. Надо ли откровенничать? Неосторожное слово — и удавят в Орде. Наконец сказал:

— Есть у нас на Руси побасенка о лисе и раке... Однажды лиса говорит раку: «Давай-ка наперегонки?» — «Что ж, давай!» — согласился рак. Лиса побежала, а рак ей в хвост вцепился, притих. Добежала лиса до места, запыхалась, а рак отцепился от хвоста и кричит: «А я давно уже тебя здесь ожидаюсь!..»

Умолк. Краешком глаза посмотрел на «оладьину».

Тот сидел, сосредоточенно думал, ждал разъяснения. Не дождавшись, сам сказал — недаром логику изучал:

— Значит, и хитростью побеждают...

И, протянув руку к темно-синему, с золотой росписью кувшинчику, налил гостю еще прохладного напитка.

— Приезжай к нам в Москву, — пригласил Калита. — И купцов присытай, не пожалеют.

Посол благодарно приложил ладонь к сердцу.

Остановился Калита не на русском постоялом дворе, а в доме на краю города, там, где кончался квартал татар, чтобы лучше приглядеться к повадкам их, разузнать еще кое-какие подробности о хане: не изменился ли характер, когда милостив бывает...

С порога дома видно было Ивану Даниловичу и Бориске, как в соседнем дворе низкорослый скуластый монгол долго и старательно оттачивал напильником наконечник длинной красной стрелы.

Неподалеку троє малышей стреляли из лука и пронзительно кричали, свистели в глиняные свистульки каждый раз, когда стрела попадала в цель.

Прокакала по улице татарка верхом на коне, скрылась за поворотом, оставив след клубящейся пыли. Чей-то голос, монотонный и скрипучий, пел песню. Калита разобрал слова:

Стрелы летучие,
Мечи секущие,
Копья зыбучие...

У забора шумная ватага татар расселась вокруг костла с мясом. Один из татар землистыми руками вылавливал куски пожирней, делил их на части и раздавал остальным. Хилому старику почти ничего не доставалось. «Старость не уважают: износился — и в яму», — подумал Бориска.

Татары рвали мясо зубами, чавкали, потные лица их лоснились. Жирные капли падали с мяса на цветные шелковые халаты.

— Пошто ножом мясо не достают? — дивился Бориска.

— Боятся этим отнять у огня силу,— пояснил князь.

— Темнота!

— Обычай. За грех считают кнутом к стреле прикоснуться или коня бить поводьями. Убивают за это.

Окончив еду, татары вытерли руки о голенища и, громко отрыгивая, стали поочередно прикладываться к бурдюку с кумысом. Татарин в яркой тюбетейке положил что-то на блюдо и отнес к идолу из войлока, у двери.

— Сердце,— знающе сказал Калита.— Верно, зверя какого недавно убили.

Легкий порыв ветра донес резкий запах нечистого тела.

— Как от козлов смердит,— презрительно сморщился Бориска.— Повелители! — и в сердцах плонул на землю.

Еще день разносили слуги Калиты подарки его знакомым вельможам, многочисленным покровителям. К ночи Калита возвратился в гостиный двор. Улегшись на жесткую постель, думал: «Малого пожалеешь, большее потеряешь. Пока Русь не едина, усобицами, как ржой, разъедается, надо быть с ханом ласковым да покорливым, всех умасливать... Как в шахматной игре наперед угадывать: пойду так, а как ответит? А что сие даст? Исподволь — ольху согнешь, а в круте — и вяз переломишь. Зато окрепнем, сил наберемся... Может, внуки мои сбросят злое иго татарское».

Повернулся к стенке, сделал вид, что заснул. Но не спалось от дум беспокойных.

«Тверь, Тверь! Сколь забот и боли принесла! Давно ли изменник Акинф из Москвы к тебе переметывался, твоими полками меня в Переяславе обкладывал? Ладно, что на помощь поспел Родион Несторович. Голову переветника Акинфа на копье поднес... И что тебе надобно, Тверь? Раздоры, измены, бессилье Руси?»

И Бориска ворочался. Припомнил вечер под дубом, слова желанные; видел Фетиньюшку с непокорными завитушками на шее, что никак не хотели улечься в косу, видел глаза ее улыбчивые. Бывало, подмигнет глазом — и на сердце сразу весна и праздник.

Думал ласково: «Кабы надо было для твоего счастья смерть принять, не размышлял бы, не раздумывал, на любую беду пошел, только б тебе, красочка, ладно было...»

Гортанно перекликались часовые, слышен был чужой говор, где-то протяжно выла собака.

ВЕСТИ ИЗ МОСКВЫ

Неожиданно для князя в Орду прискакал гонец с отпиской из Москвы. Дьяк Кострома писал со слов Василия Кочёвы:

«...Только ты уехал, чернь из урочища Подсосенки вздумала гиль подымать... отказалась дань платить. Зажига¹ главный Андрюшка Медвежатник и общитель его Степка Бедный дернули языковредием черный люд возмущать, власть нашу рушить злым непокорством. Бросил я заводил в поруб, да еще выловил сброд — и туда ж. С гневом приказал за три дни хлеба и воды не дать...»

«Бдитель! — удовлетворенно подумал Иван Данилович.— Возвышу».

«А через три дни допрашивал пословно Андрюшку и Степку, примучивал дотоль, что губы их кровью смочились... В дыме повесил, а под ними огонь развел: «Реки, чего хочешь?..»

«Поделом собакам», — мысленно одобрил князь.

«Они ж уста замкнули. А послухов² нет. Тогда Андрюшку связал, наземь поклал, сверху доску на грудь и на ту ю доску прыгал, пока грудь не затрещала: «Реки!» А Степку распинали на стене, очи воровские выжигали: «Реки, сквернитель, реки, как худым поносил, добро наше делить собрался». А он безмолвствует, страшения не убоявшись.

А дале сам признался: «Хотим, дабы хозяином был, кто за сохой ходит...»

«Ишь чего захотели, тати поганые!» — гневно сверкнул глазами князь.

«А мне главное сведать надобно было, кто у них еще пособник из черного люда. Да не признались. Я к Протасию и Даниле Романовичу ходил, совет держал с боярами

¹ Зажига — зачинщик.

² П послухи — свидетели.

Шибеевым, Жито. Они присоветовали: «Гибельщиков¹ пошли». Гибельщики сыск учинили — мечи самодельные все же нашли у Сновида и Мирослава. На допрос митрополит Феогност приходил. Взыпал: «Признавайтесь, богоотступники, кто с вами заедино?» Молчат, злочитрые. Тогда святитель страшной клятвой их проклял, а нам благословение дал изничтожить злодеев».

Князь разгладил рукой пергамент, благодарно подумал о Феогносте: «Верен слову. Возвращусь — пожертвую на собор и монастырь.—Перед глазами возник худенький Феогност.—Ничего не скажешь — умен, а вот без меры алчен. Надо было ему льняное масло сбыть, так сказал: «В елей мышонок попал — осквернение. Благословляю льняным маслом миропомазание совершать». Что делает ненасытство! Нет бескорыстия святого Петра. На небо глядит, а по земле шарит. Но опираться и на такого надобно».

За стеной, во дворе, заржал конь. Князь отпустил гонца, приказал на словах тайно передать Кочёве: доволен, что сквернителей обуздал, что совет держит с боярами.

Со двора вошел Бориска. Он точил свой и князя мечи, рубаха его от жары взмокла, по лицу катился пот.

Бориска вложил меч князя в ножны, прислонил его к постели. Иван Данилович посмотрел на Бориску одобрительно: «Трудолюбец!»

— Послушай вести из Москвы,— предложил он юноше не столько для того, чтобы действительно Бориска узнал все новости, сколько для того, чтобы перечитать письмо.

Бориска весь встрепенулся, жадно устремил взор на Ивана Даниловича.

Князь начал медленно читать. Чем дальше читал он, тем бледнее становилось лицо Бориски. Юноша судорожно сжимал и разжимал пальцы.

Андрей, которому не раз поверили свои самые сокровенные мысли, с которым делился краюхой хлеба, его Андрей попал в беду.

Перед Бориской, как живое, встало лицо Андрея: черные брови, точеный нос, крутой подбородок. Такое лицо нельзя было представить искаженным страхом или смятением.

А князь тихим голосом читал:

— «...На тую доску прыгал, пока грудь не затрещала: «Реки!» А Степку распинали... А дале сам признался...»

¹ Гибельщики — сыщики.

Рыдания подступили к горлу Бориски. Князь поднял голову. Сразу понял: не надо было холопу письмо такое читать. Не для него!

Сузил недобро глаза, спросил жестко:

— А ты бы в ту пору в Москве был, что с зажигами делал?

Бориска, не помня себя, воскликнул:

— С ними б судьбу разделил!

Князь побледнел, ноздри его раздулись. Вскочив, гневно закричал:

— Прочь, холоп! Прочь! — Схватил прислоненный к постели меч в ножнах, замахнулся им, как палкой.— С глаз долой!

...Бориска брел по улицам чужого города. В душе было смятение: и то, что слышал от деда Юхима, и это письмо Кочёвы, и гнев князя тогда в селении и сейчас — все переплелось в клубок, жгло мыслями. «Пошто несправедливость такая на свете? На что господь смотрит? Пошто и впрямь хозяин не тот, кто за сохой ходит? Богачи в шелках, а бедным нечем тело прикрыть. На одно солнце глядим, а не одно едим!».

Эти сомнения, приходя раньше как недоуменный ропот, теперь все яснее становились протестом. «Кто он, Бориска? Княжий прислужник. От былой вольности только в памяти след остался».

Впервые закралась страшная мысль, будто ожгла: «Кому и зачем служишь?» Крикнул мысленно: «Не тебе — отчине! Нужен ты ей сейчас против татар. А все вы, богатеи, одинаково мазаны».

Он остановился на окраине города, лицом к степи, к Москве. И небо и степь были здесь чужие. На мгновение представил: вдруг оставят его в этом краю навсегда! Сердце сжалось — тогда лучше смерть.

Было тихо.

Расплавленным золотом поливало солнце землю. Стрекотали кузнечики, как в тот час, когда убили татары Трошку. Там, вдали, за этой степью, Бориска увидел избу деда Юхима, еще дальше — замученного Андрея, смердов в жалких лохмотьях; услышал голос деда Юхима, что с горечью произнес: «Мы пешеходцы».

«От кого такая неправда повелась? — мучительно думал Бориска.— Кем такая злая участь уготована? Как жаль, что не был рядом с другом, Андреем, в тот час

в Подсосенках, не помог ему как умел. Пусть тоже погиб бы — ничто не страшно...»

Сами собой складывались певучие слова о нужде, о горе народном, о том, что не будь лапотника, не было бы и бархатника, что за крестьянскими мозолями бояре сыто живут...

Слова, как стон, просились на волю.

Князь, прогнав Бориску, бросил с сердцем меч на постель. «Если отпустить узду, чернь разнесет! Ярлык получу — хан будет помогать непокорных смирять: сам их бойтесь».

Над ухом опять прозвучали подлые слова Бориски: «С ними б судьбу разделил!» Гнев снова вскипал в князе: «Сколь волка ни корми, все в лес глядит!» Грамота не впрок горделивцу пошла. Рассуждать, молокосос, вздумал! Всяка власть от бога, и не тебе, тля, судить! Жаль, что плетьью не иссек».

Он поостыл, подсел к столу:

«Ладно хоть, что прям, за пазухой камня не держит. За спасение на базаре, как в Москву возвратимся, награжу, а из Кремля удалю».

Он прищурил недобрые, острые глаза:

«А чтоб не смел перечить и место свое знал, Фетинью за Сеньку-наливающика отдам.— Тонкие губы князя изогнула язвительная улыбка.— Попрыгаешь тогда, сочинитель!»

В ЗОЛОТОМ ШАТРЕ

Прежде чем разрешить Калите быть на поклоне в Золотом шатре, испытывали покорность князя.

Сначала очищали огнем от нечистых мыслей: разожгли два костра, рядом с ними поставили два копья. От верхушки к верхушке копий протянули веревку. В те ворота проходил московский князь и воины, следом — доверху груженные повозки. Старая, похожая на ведьму монголка прыскала водой, заклинала скороговоркой:

— Огонь, унеси злые мысли, унеси яд...

Кривляясь, танцевала по кругу. Сородичи подвывали ей.

Танцую, старуха зацепила рукой за воз, сбила с него
на землю шкуру куницы, проворно схватила ее:

— Мое, меж огней легло — мое!

Потом велела князю кланяться деревянным идолам,
пить кобылье молоко.

Слегка горбясь, с выражением покорности на лице пил
Калита ненавистное кобылье молоко, низко кланялся идолам,
чтобы никто не мог узнать по глазам, о чем думает.
«Я поклонюсь... Но время наступит, и вам, поганым, колом
в бок все это выйдет!»

Представилось, как вот здесь же, в черной Орде погиб
мужественный князь Михаил Черниговский, не пожелавший
склонить голову перед татарами. Да и он ли один
погиб?

«Ради жертв великих, памяти светлых мучеников сих
пойду на тяжкие испытания, все вынесу, а ярлык получу...»

Смерти московский князь не боялся. И если бы знал:
поступи он так же гордо, как Михаил, — Москва от того
станет сильнее, ни минуты не колеблясь, пошел бы на это...

Наконец великаны стражники приподняли перед Иваном Даниловичем красный войлочный полог Золотого шатра, впустили его и снова застыли с кривыми саблями на плечах. Войдя, Калита одним взглядом охватил роскошное внутреннее убранство огромного шатра: потолок в раззолоченном шелке, трон отделан золотом, резьбой по кости, золотые драконы на малиновом бархате ханской одежды, золотые курильницы, распространяющие сладковатый аромат. Покрытые войлоком стены украшены седлами, оленьими рогами, расписаны затейливыми узорами.

«Сколько богатства награблено! — недобро подумал Калита. — Даже трон работы нашего мастера Кузьмы. Сегодня на базаре Бориска на самом красивом бронзовом подсвечнике надпись нашел: «Сделал раб бедный Влас». Тыщи их, полонянников, здесь».

На высоком троне посреди шатра, под балдахином, усыпанном драгоценными камнями, восседал лицом к югу, словно идол, хан Узбек. За последние несколько лет хан очень изменился. Был он моложе Ивана Даниловича, а расположился безмерно, от былой своеобразной красоты не осталось и следа. Он сидел маленький, толстый, с трудом дышал. На лице, с нездоровыми отеками под глазами, застыла надменность. Только изредка хан едва заметным движением пухлых пальцев отдавал приказания, и тогда



На высоком троне посреди шатра восседал, словно идол, хан Узбек.

придворные послушно склонялись перед ним, гибкие воины в панцирях из потемневшей буйоловой кожи, бесшумно пятясь, выскользывали из шатра.

По бокам ханского трона, на ступенях, покрытых парчой, сидели знатные вельможи в богатых одеждах и ярких тюбетейках. «И по рылам видно, что не из простых свиней», — насмешливо подумал о них Калита. Он тотчас приметил Киндяка с зелеными, как всегда, закисшими глазами, рыжего Чанибека, тысячника Байдеру, вельможу Тушухана с большими оттопыренными ушами, обрюзгшего посла Андулю, а возле него — ханского составителя грамот, красивого, высокого Учугуя Карабчя.

Неподалеку от хана примостилась жена его Тайдула и молоденькие смешливые дочери. Младшая, хорошенъкая непоседа с быстрыми угловатыми движениями, увидев вдали, среди гостей, жениха, приехавшего из Индии, посыпала ему нежные взгляды.

Пробираясь к своему месту, за колонной в листовом золоте, где на коврах сидели гости, Калита незаметно поглядел на ханшу: «Ждать ли помоши?»

Его внимание привлекло необычайное дерево, стоящее в глубине шатра. Каждый лист дерева сделан был из серебра. У подножия чуда лежали четыре золотых льва с разинутыми пастьми. Золотые змеи обвили хвостами ствол дерева, положили чешуйчатые тела на головы львов. На самой верхушке дерева, выставив ногу вперед, стоял, будто живой, из бронзы отлитый человек. Вот он поднес к губам трубу, и, отвечая на трубные звуки, задрожали серебряные листья, начали извиваться змеи, из львиных пастей потекли в тазы струи вина, кумыса, меда, и молодые, ловкие прислужники, черпая влагу, стали разносить ее гостям.

«Тщится удивить, чтобы в силу верили,— проницательно отметил Калита.— Ну, да и мы не лыком шиты! Не ваши руки и не ваш ум сие делали: из Китая прислали».

К хану приблизился Киндяк, прошептал почтительно:

— Правосудный правитель, московский князь просит выслушать его.

— Пусть подойдет.

Киндяк кивнул Калите.

Калита согнулся — сейчас ему можно было дать много более сорока лет, даже губы стали тоньше и бледней,— поднялся по лестнице к площадке у трона.

Слуги Калиты положили у ног хана подарки: золотую

посуду, жемчуг, меха. Были здесь белоснежные горностаевые накидки, пушистые, как первый снег на московских крышах; пепельно-голубая горская куница-белодушка — для шапок; черная лиса, что попадается раз в сто лет; нежный, благородный соболь; лесная куница с коричневато-серой спинкой и оранжевым пятном на шее, у горла.

Хан Узбек довольно покосился на меховую груду, с напускным безразличием отвел глаза в сторону. Ханша что-то зашептала ему, Узбек, соглашаясь, кивнул головой.

Калита низко поклонился. Горбясь, заговорил свободно по-татарски:

— Хан могущественный, блеск земного мира и веры, величие ислама и мусульман...

Слегка приподнял голову, незаметно посмотрел на Узбека.

Несколько слуг неустанно приводили в движение опахало, но лицо хана лоснилось от выступившего пота. «Как у тех на гостином дворе,— мелькнула мысль у Калиты.— Плюнуть бы в рожу. А надо точить словесный елей...»

Неряшливо застегнутый халат, открывающий полную, в бурых завитках волос грудь хана, местами взмок и прилип к телу. Узбек только что пил кумыс — капли его стекали по редким темным кустикам бороды.

«Ишь, мяса-то сколько да все шеина!» — обретя свою обычную насмешливость, подумал Калита и ниже склонил голову.

Узбек милостиво разрешил:

— Повелитель слушает тебя...

— Величайший и прозорливейший, путеводная звезда мира, я твой покорный слуга...

Узбек только пальцами пошевелил — мол, знаю, знаю.

— Зашитник веры и справедливости, не корысть, а преданность тебе и желание доказать верность привели слугу твоего сюда. Дерзнул приехать недаром...

— А может быть, и даром? — пошутил Узбек. Был он сегодня в хорошем расположении духа, а в такие редкие минуты любил пошутить и первым посмеяться своим шуткам.

Калита заметил в глазах хана игривый огонек и, зная по рассказам монголов доступность Узбека в подобные минуты, ответил:

— Даром и чирей не сядет, все хоть почесаться надобно!

Хан на минуту задумался, подыскивая ответ, но не нашел его и, видно желая смутить московского князя, сложил свои пухлые пальцы в кукиш. Повертеv им перед собой, спросил не зло, но с издевкой:

— А если тебе это в подарок?

Услужливо захихикали ханша и дочери, осклабились, закивали одобрительно вельможи.

Калита с деланным простодушием ответил:

— Кукиш и без денег купишь...

Тут-то и прорвало неудержимого Узбека. Довольный своей штукой, закатился, затрясся, завизжал, брызгая слюной, наливаясь кровью.

Пронзительно вскрикивая, он бил колени ладонями, прикладывал ладони ко рту. Когда смех затих и казалось, сейчас совсем прекратится, хан сделал глубокий, всхлипывающий вздох и снова начал визжать и брызгать слюной. Наконец и впрямь умолк, тяжело дыша.

Калита решил: пора! От верных людей знал, что сегодня добрались до Орды двое недобитых в Твери татар. Надо было первым сказать хану о случившемся.

— Повелитель,— произнес Калита скорбно.— В Тверском улусе... (остановился на секунду, подумал: «Пострашаю пустосмеха!») непокорные подняли против тебя грозное восстание, убили брата твоего, славного Щелкана, отряд его изничтожили...

Узбек побагровел от гнева. Разом вспомнились и другие неприятности: дочь Тулунбай, что в жены взял египетский султан аль-Мелик-ан-Насир, умерла на чужбине непонятной смертью; прошлой ночью сон зловещий снился, будто сидит он, хан, на троне, а трон качается. А тут еще эта чернь тверская из повиновения выйти осмелилась! Думают, не силен уже владыка вселенной. Ошибаетесь, собаки! Русских князей надо натравлять друг на друга!

Узбек медленно встал, резче выдались скулы на распленном бешенством лице.

Закричал злобно, с привизгом:

— С корнем истреблю змеиное гнездо! Перережу всех до единого! Рязанского князя немедля казнить!.. Иди, Киндяк!

Рязанский князь Иван ослушался приказа хана — не приехал тотчас по вызову. И теперь вот уже пятый месяц ждал суда в Орде.

Киндяк выскоцъзнул из шатра.

Узбек осекся: не к лицу властелину гневом слабость показывать. Покосился из-под припухших век на московского князя: «Может быть, и этого сейчас прикончить? Небось думает, что хитрее меня, а я его вслед за рязанским... хитрость проверять».

Он опять испытующе посмотрел на Калиту, на груду меха, решил: «Нет, покорен и умом недалек. Такой нужен. Дальше сумы своей не видит... И похитрей я проводил, в капканы ловил. Церковь их купил. И тебя ручным сделаю. Будешь дань привозить. Так тоныше: свой собирает, баскаки лишний раз не станут урусотов наездом раздражать. А ну-ка, покорность проверю».

— Тебя, мой верный конязь,— сказал Узбек тихо, обращаясь к Ивану Даниловичу (впервые назвал его князем),— наделяю силою великого неба...— Он торжественно помолчал.— Лучшие мои темники, Туралик и Сюгá, с тобой пойдут... Пятьдесят тысяч всадников... Непокорных усмирят — ярлык получишь, станешь моими очами и руками в урусутских улусах.— Подумал: «Воинам на дорогу пищу не дам. От сырой собаки плохая охота».— Туралик, Сюга! — позвал он.

Два поджарых, с одинаковыми рысыми глазами темника выросли перед ханом.

— Землю тверскую предать огню и мечу! — приказал Узбек.

Темники склонили головы.

— Кто приказу Узбека не покоряется, тот человек виновен, умрет! — закончил хан с расстановкой и сел.

На мгновение перед глазами Ивана Даниловича возникла пылающая Тверь. Откуда-то из темноты вдруг надвинулось лицо Симеона: он смотрел осуждающе, с недоумением. От его глаз нельзя было уйти.

Первым безотчетным порывом князя было выпрямиться во весь рост, гордо, с испепеляющей ненавистью бросить в лицо хану: «Врешь! Не истребить тебе, проклятый, русской земли!..» Лучше погибнуть, чем унижаться, стать службой шакала... Лучше, как Михаил Черниговский... А потом? А потом? Что это даст? Святого убиенного Ивана, разоренную Москву».

Огромным усилием воли Иван Данилович подавил в себе порыв, опомнился. Лицо его покрыла бледность. Хан успел заметить это, но в тот же миг выражение лица Калиты изменилось, стало смиренным, он покорно склонил голо-

ву. Мысленно прошептал, обращаясь к Симеону: «Ничего не поделаешь. Надо, сынок. Надо руками Узбека расправиться с тверскими раздорниками».

Хан Узбек качнул головой. Снова прислужники стали разносить влагу, халву, дыни на золотых блюдах.

Перед московским князем поставили фрукты в китайской вазе: на синем фарфоре скакал, пригнувшись, всадник, развевалась конская грива.

«Злее зла честь татарская, а приходится ее принимать, улыбаться и благодарить».

К хану подошел Киндяк, тихо сказал:

— Голову ослушнику отрубили.

На застывшем лице Узбека не дрогнул ни один мускул.

Заиграла музыка. Маленький сморщененный татарин, покачиваясь, затянул однообразную, как пески пустыни, песню.

Когда все опьяняли, Иван Данилович вышел из шатра. Как раненый зверь, заметался на узком пространстве у входа. Нестерпимо, будто когтями, разрывало сердце. Руками, своими руками задушил бы Узбека и его прихвостней, рвал бы их на куски! Ох, тяжка, как тяжка ненавистная покорность! Где взять силы вынести ее?..

Князь застонал, до крови вонзил ногти в ладони. «Будь мужем! Перенеси все это». Он заставил себя успокоиться. Распрямил спину.

Рядом, как тень, стоял Бориска. Где-то неподалеку звякнул колоколец верблюда. Пахло песком, политым водой. Тлели огни затухающего костра. Продолжал бубнить татарин в шатре. Иван Данилович поднял лицо к темносинему чужому небу в холодных звездах.

— Сей час над Москвой тоже звезды светят, только ярче, родней. Москва!..

Вот вымолвил это слово, и горячая волна заливает сердце. Сколько ночей бессонных провел в заботах о ней! Но поднимается она, поднимается. Грудь все шире. Плечи расправляет...

Далеко-далеко начинался первыми молочными полосами рассвет.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОСКВУ

Вьюжной, замётной зимой прошли всадники Узбека по тверскому княжеству, огнем и мечом сокрушая все на своем пути.

Иван Данилович осунулся, похудел, словно бы даже почернел, глаза его глубоко ввалились. Глядя на пепелища, думал: «Много теперь не возьмешь... А покорства ждать от гали тверской вряд ли можно... Ну, да ничего — скрутим».

Ордынцы озверели от крови, легкой добычи. Рыскали шакалами свирепые Сюга и Турагык. Да и суздальцы, что присоединились к ним, помогли рушить Тверь.

Но вот закончился поход, снег торопливо занес тверские пожарища, и Калита, получив от Узбека золотой ярлык, наконец возвращался в Москву.

Отзвенели сосульки, срубленные лучами весеннего солнца, промурлыкали вешние воды, отзывались песни-веснянки...

Стоял березозол¹ — пора, когда пчеловоды окуривают ульи, когда вечером кружатся девичьи хороводы и молодежь играет в горелки.

Бориска неспокойно ерзал в седле, все поглядывал вперед: скоро ли, скоро ли покажутся кремлевские стены? Дух занимало от ожидания — так бы соскочил сейчас с коня и побежал навстречу Фетиньюшке! Не терпелось обнять, вручить подарки, что купил еще в Орде: занозки-булавки, колечко да серьги с искрами — не ахти какие, да от души. А главное — вез ей сердце свое...

В Кремле, предупрежденные гонцом, готовились к встрече. Здесь царilo праздничное оживление. И ковры, разостланые в горницах, и золотом тканые, в ярких цветах на оконники, и подсвечники с висюльками из хрустала, и благоухание от ароматных вод — все говорило о радостном ожидании.

Фетинья, в новом голубом платье, расшитом цветными стрелками, оживленная, с пылающими щеками, уже с десяток раз взбегала на чердачную башенку-смотрительню: не едут ли?

Отряд, простучав по деревянному мосту через ров, въехал в город. Князя встречал весь московский духовный собор, навстречу несли хоругви, иконы, торжественно пели

¹ Березозол — апрель.

попы, курился ладан, сверкали ризы и кресты. Калита неловко соскочил с седла, припал к иконе. К нему подошел, спираясь на посох, Феогност в сверкающей жемчугом митре, благословил возвращение, осенил крестом. Иван Данилович брезгливо бросил свой татарский колпак слуге, да, видно, не рассчитал, и колпак упал под конские копыта. Князь приложился к кресту. Далее все пошли пешие.

По всему Подолу — меж Москвой-рекой и кремлевской горой — разметались кузни, сараи, дворы. Спускались вниз, упирались в береговое пристанище для судов кривые улички, где жила городская беднота — «черные люди».

Из мастерской бус и браслетов выбежали поглязеть на крестный ход подростки в длинных холстяных рубахах. Возле дубильных чанов стояли, с трудом разогнув спину, сапожники. Высунулся из двери пекарни осыпанный мукой остроглазый отрок с буйно всклокоченной порослью на голове, крикнул восторженно дружку:

— Тимка, Тимка, глянь-кось: Бориска-то храбрец! А сзади наши, верно, выкуплены из полона...

Бориска уже приметил знакомых, весело подмигивал им:

— Здоровово, горе-Григорий!.. А ты, Филипп, к Москве прилип?

Худой, высокий мастеровой Митроха, со впалыми щеками на темном от копоти лице, сказал знающе своему подручному-молотобойцу:

— Князь, слышь, Азбяка облукавил, ярлык, говорят, получил, да весь он в крови тверчан...

— А нам, поди, облегчение приходит? — вопрошающе глянул подручный.

— Пожалуй, татарва перестанет ездить, — раздумчиво ответил Митроха, но тут же угрюмо добавил: — Зато держись, свои бояре поборами задавят! — И уже совсем тихо пробормотал: — Бог сотворил два зла — богатство да козла... По Кочёве веревка давно скучает...

Отряд уже взбирался на гору. Неистово чирикали воробы, по-весеннему радостно вызывали колокола. Над курными избами, садами в зеленовато-белой дымке, шатровыми крышами, над рекой и боярскими хоромами в причудливой резьбе плыл от Кремля к бору веселый перезвон.

Княгиня Елена вышла навстречу мужу празднично принаряженная. Серебряный венчик осторожно охватывал ее голову, подбитый шелком багряный плащ, скрепленный за-

поной у плеча, волнисто спадал на руку. Из-под плаща виднелась сорочка, украшенная внизу зеленым бисером. От волнения то поднималась, то опускалась на груди княгини золотая коробочка на цепочке.

Иван Данилович поцеловал княгиню в бледный лоб, спросил тревожно:

— Чада все во здравии?

— Все,— ответила она и, припав к его груди, замерла. На худых щеках заиграла нездоровье пятна.

Князь ласково отстранил жену:

— Пойду с дороги умоюсь...

Бориска встретил Фетинью неожиданно, на завороте широких сеней. Всегда так бывает: мыслю нарисуешь встречу, а получается совсем иное.

Они враз остановились друг против друга, словно приросли к полу. Первым движением девушки было броситься к Бориске, да она сдержала себя, но очи — любящие, застыдившиеся — открыли больше, чем слова.

И Бориска стоял недвижно. Ему бы сказать: «Вот и снова вместе, теперь вовек не разлучимся. После мая и обвенчаемся». Пошутить: «Чтоб не маяться», — а он молчал, язык словно прилип к нёбу. Сказать бы, как говорил про себя: «Здравствуй, яблонька весенняя!» — но слова не шли с губ.

Фетинья повзрослела, в ней появилось что-то новое: была и такой, какую оставил, какой представлял в разлуке, и еще во сто крат милее, краше.

Раздались гулкие шаги, пол гнулся под чими-то тяжелыми стопами.

— Вечером под дубом! — успел только прошептать Бориска и погладил ее руку от плеча к ладони.

Фетинья кивнула головой, побежала своей дорогой.

Грузно переваливаясь, навстречу Бориске шел Василий Кочёва, неся впереди себя серовато-бурью бороду. Недобрыйми глазами посмотрел на юношу, словно обыскал. Не нравился ему этот стихоплет, давно до него добирался. Послухи с базара сказывали — о нем, Кочёве, побасенка ходит: «Лошадь любит овес, земля — навоз, а воевода — принос». Не Борискина ль выдумка?..

Кочёва повел в его сторону широким, в крупных порах носом и прошел мимо.

Бориска с ненавистью поглядел вслед, на бугристый затылок Кочёвы, на шишки за ушами. Сжал кулаки: «Убивец

проклятый, попался бы ты мне в руки!» Резко повернувшись, зашагал сенями.

А на улицах окраины уже заиграли гусли и свирели, запели женские голоса, отплясывали плясцы, в складчину устраивали пирушки. Приседая и трясясь, пророчил Гридя: «Мир и тишина... мир и тишина...» Исступленно голосила мать погибшего Трошки...

Близких имовитых¹ людей князь созвал в гриднице в тот же вечер.

Бояре расселились на широких лавках вдоль стен, увешанных доспехами, выжидательно уставились на князя.

«Подался, смотри, как подался... Видно, нелегко ему пришлось в эти месяцы. Лик осунулся, проседь проступила, новые морщины лоб избороздили...»

Князь встал, острым взглядом окинул лица, сказал резким,ластным голосом:

— Собрал вас, думцы, чтобы поведать: Москва ярлык золотой получила!..

Приостановился, снова внимательно оглядел бояр. Умели они чувства не выраживать. Но весть была столь важна и радостна, что все зашевелились. Протасий смотрел так, словно говорил: «Великое спасибо за то, что совершил».

— Теперь,— продолжал Иван Данилович,— кто выступит против нас — враг всей земли нашей, ей ущерб нанесет. Большой кровью дался ярлык. Дорогой ценой достался... Будем дале беречь кровь русскую, без нужды не допускать драки...

В гриднице стояла такая тишина, что слышно было, как с трудом дышал толстогубый хранитель печати Шибеев и поскрипывала лавка под воеводой Кочёвой.

— Да о черни памятовать след. Разве были б у нас кладовые снеди, рухлядь богата, коли кормы нам смерды не носили? Были б табуны коней, хлеба на пажитях, одежды златотканы, коли дали б мы повадку черни руку поднимать на богатство наше?

Шибеев, одобрительно глядя на князя, потянулся к уху соседа, дворского Жито, прошептал, едва не касаясь толстыми губами серьги:

— Нам крепче вокруг него держаться надобно...

¹ И м о в и т ы е — знатные.

Жито — с крупными ушами и таким большим изрытым временем лбом, что дворского прозвали «Старый лоб», — расстегнул ворот кафана, солидно погладил заплыvший кадык:

— Твердоумен и мудростен...

Только боярин Алексей Хвост — Калита про себя отметил это — покривился заносчиво, поджал змеиные губы: может, жалел о дружках своих тверских?

А Хвост думал о князе: «Больно много берешь на себя, не сломал бы шею! И без твоей заботы жили». От золотого ярлыка он ничего доброго для себя не ждал. Тверь не жалел, хотя одно время собирался туда переметнуться. Хорошо, что остерегся. Единственное, чего хотел, — жить, как деды жили: никому не подчиняясь, самовластно управляя своими владениями. Да, видно, теперь и вовсе сжаться придется. Или, может, в Рязань податься?..

Дни Ивана Даниловича наполнены делами, словно калита, доверху насыпанная монетами.

Вызвал строителя Анцифера Жабина, румяного, белокурого красавца, вопрошал:

— Как мыслишь пристроить к Успенскому собору храм во имя спасения вериг святого апостола Павла?

— Мыслю своды сделать на четырех основах, на человечьи головы схожие, — с готовностью ответил Жабин.

— Лишняя выдумка! — запретил князь. — Главное — покрепче строить, поболе из камня. Сеннописцам¹ Николаю и Захарию прикажи расписать стены.

Отпустив Анцифера, задумался: «Да, не забыть иноков из Данилова монастыря перевести к храму Спаса на Бору... Пусть перекладывают с греческого на русский, летописи составляют... Книжное ученье нам впрок».

С митрополитом Феогностом князь говорил долго, благодарил, что вразумлял Кочёву.

— Теперь, после тверских дел, возблагодарим господа — построим под колокола храм святого Иоанна Лествичника для спасения от греховных бед...

Грек довольно прикрыл сухонькие веки.

— Хочу еще раз поздравить тебя с удачей и счастьем в Орде, — сказал он тонким голосом.

¹ Сеннописцы — живописцы.

Калита про себя усмехнулся: «Счастье без ума — дырявая сумма», а вслух сказал:

— Твоими молитвами, отче... — Помолчал, задумчиво склонив голову, наконец промолвил вкрадчиво: — Еще молю тебя, владыко, о подмоге...

Феогност посмотрел вопросительно.

— Александр Тверской скрывается от ханского гнева во Пскове. А Узбек требует Александра...

— Что же я могу сделать? — недоумевал Феогност.

— А мню, святитель: наложи на Псков проклятье — испугаются, враз выдадут Александра, — тихо посоветовал Иван Данилович и умолк.

Феогност в нерешительности молчал. Ему и не хотелось вмешиваться в эти хлопотные дела, а вместе с тем он понимал, насколько выгодно сейчас быть заодно с Узбеком и московским князем. Да и князь поддержит церковь в борьбе с нечестивой ересью. Повсюду пошла вредная вольность мысли; новгородские протопопы монашество порицают — бесовским учением называют его. Споры вздумали заводить, есть ли рай.

— Да, чуть не забыл! — живо воскликнул Калита, точно только что вспомнил об этом. — Дозволь, святой отче, в казну твою передать кресты золотые и чаши. Давно собирался... А еще: выкупил я в Орде трех мастеров-иконописцев. Пришлю их тебе — составь дружину.

Князь скромно склонил голову.

— Быть посему, — неожиданным баском провозгласил митрополит. — Завтра ж приказ пошлю: церкви во Пскове затворить, не быть звонению и пению по всему городу, покуда не выдадут Александра.

Круглый, неуклюжий тысяцкий Кочёва, как всегда, помедвежьи переминался у двери с ноги на ногу. За эти месяцы стал он еще толще, пальцы рук походили на обрубки — кольца так врезались в них, что князь подумал: «Скоро придется распиливать».

— За то, что гиль истребил, смутьянов обезглавил, обдарю тебя двумя селами у Клязьмы, где корабли грузим. Грамоту сегодня получишь... Быть тебе на Москве постоянно воеводой.

Кочёва медленно подогнулся ноги, грузно опустился на колени, забормотал бессвязно:

— Да я... если что или там... опять кто... — Боясь княжеского гнева, не осмелился признаться, что Андрей Медвежатник перед самой казнью сбежал из-под стражи, хоронится в лесах. Да и не ко времени было бы сейчас, при такой милости, говорить об этом.

— Встань! — приказал князь. — Всю дружину собери, сделай смотр. Нерадивых накажи, хоть палками бей. Дружба с Узбеком — дружбой, а меч вострить надобно. Не вечно игу тому на Руси быть... Мастеров-ордынцев, что бежали от татар, и тех, что я выкупил, пристрой к делу. Посели слободой. Пусть колчаны делают и стрелы со свистом. Чай, в Сарае научились... — Помыслил, вслух не сказал: «Под звон ханских цепей будем ковать мечи...» — Да на дорогах татей истреби, по рекам стражу учини, — продолжал князь. — Вокруг Москвы купцу, пешеходу страха не должно иметь. Пусть торгуют без зацепок. Надобно нашу землю от татей вовсе избавить, руки им рубить...

Князь помолчал.

— Кто из имовитых-то ненадежен, худые замыслы носит? — неожиданно спросил он, понижая голос.

— Так что... Я смотрю, что там или там... подозреваю — Алексей Хвост, — заикаясь, медленно ответил Кочёва. — Злорад... То да се... Что ты ни сделаешь — ему, злоумышленнику, все не так. Туда-сюда... двуязычит...

Князь нахмурился:

— У кого желчь во рту, тому все горько! Да, может, только и беды, что на глупые речи невоздержан. Уста бездверны... Ты за ним поглядывай... Ну, пойдем в терем, — поднялся он. — К нам из Киева служить пришел боярин Аминь. Верно, почуял, где сила, иначе бы чего с насиженного места трогался?..

Они вышли в сени.

Калита, бесшумно шагая, думал: «Надо привладеть землю Белозерскую... Внести за белозерского князя дань Узбеку. Станет князь сразу шелковым. А Юрьеву монастырю пожаловать грамоту — снять налоги с их земель и промыслов».

В тереме, дожидаясь князя, толпились люди. Нестройный гул их голосов сразу умолк, когда вошел Калита. Старый, но еще очень крепкий боярин с белой, как пена, бородой, поклонился ему, сказал густым басом, словно в бочку пустую дохнул:

— Приехал к тебе, великий князь всея Руси, бить челом в службу. Может статься, слыхал про боярина Амина из Киева?

Все, кто был в горнице, переглянулись: «Вот как... Всех Руси!..»

— Еще бы не слыхать! — пошел навстречу Аминю Иван Данилович.

Обнимая его за плечи, мысленно восхитился: «Сущий Муромец! Ишь грудища-то — не обхватишь».

Будто мимоходом, поинтересовался:

— Верно, не один прибыл?

— Да сотен пятнадцать народу привел и сына тож, слугами верными будут,— с достоинством ответил боярин и низко поклонился.

Он оставил насиженное место, потому что истосковался по твердой власти, прочности, устал от княжеских раздоров, от незнания, что ждет завтра, от запустения и смут.

— Рад, рад! — еще приветливее сказал князь.— У нас в почете будешь, не пожалеешь, что пришел. На первый случай жалую тебе Волоколамское: владей, пока служишь мне и детям моим...

Боярин Алексей Хвост побледнел от зависти: давно хотел иметь то владение.

Кочёва все приметил — и эту бледность и недобро вспыхнувшие глаза Хвоста. «Враждебник!» — уверенно решил воевода.

Князь опустился в высокое кресло в переднем углу, жестом позволил остальным сесть на лавки.

Бревенчатые стены, укрытые коврами, дубовый стол простой резьбы, широкие лавки с суконными подстилами — все это придавало комнате холодновато-деловой вид и словно подчеркивало, что хозяин хором не стремится к внешней роскоши.

Да и сам князь одет был в скромный, из темно-синего станеда, кафтан с меховой оторочкой.

К Ивану Даниловичу приблизился круголикий татарский мурза Чет, в крещении названный Захарием. Сохранивая важность, почтительно поклонился, сказал по-русски:

— Я, княже, с просьбой: дозволь на Ордынской улице склады мои огородить.

Калита удовлетворенно подумал: «Предки твои жгли те места, что ты огородить просишь». Промолвил ласково:

— Никто тебе помехи чинить не будет — огораживай, бого в помочь.

Вслед за Четом подошли переселенцы из Мурома — отец и два сына. Отец подтолкнул сыновей в спины; они пали ниц, да так и остались, словно уперлись лбами в пол, а старик, широкоплечий, с обветренным, точно вырубленным из дуба лицом, сказал натужно:

— Не оставь, великий княже, милостью: в Москву переселиться замыслили. На твою заступу и пособие надеемся...

Князь терпеливо выслушал старика.

— Землю отведу... — милостиво пообещал он. — На первое обзаведение получишь топоры, гвозди. Пока на ноги станете, от податей освобождаю. — А про себя решил: «Позже свое возьму с лихвой». С доброй улыбкой смотрел на упавшего рядом с сыновьями старика. — Встань, встань... Нечего время терять, за работу принимайся!

...Как-то вечером князь позвал дворского. Посмотрев книги, долго распекал за лишние расходы:

— Зачем свечей без меры накупал, кем к роскошеству приучен? Где ж око твое хояйское?

Жито уныло опустил утиный нос с бородкой. Отчитав дворского, князь сказал хмуро, словно отсек что:

— Бориске в Кремле не место!

Жито удивленно выпучил и без того навыкате глаза, уставился на князя: «От любимца отрекается!»

Иван Данилович спохватился. Гася любопытство дворского, ровным голосом сказал:

— Отпускаю на обучение к мастеру колокольному Луке. Выдай из казны на устройство...

После разговора с Бориской о ниварях и потом, позже, в Орде, о письме Кочёвы князь не мог преодолеть в себе неприязнь к юноше, и даже храбрость Бориски на татарском базаре не уменьшила этой неприязни.

Так и стояли в ушах слова: «С ними б судьбу разделил!» И разделил бы. «Как душу чёрни в княжеских коромах ни полоши — черной останется!»

Вспомнился и недавний разговор с Фетиньей. Когда сказал ей: «Оженю Сеньку на тебе», рухнула на колени, зарыдала: «Не губи сироту, не люб мне Сенька!» — «Не люб? Будто надобно, чтобы люб был! — Прикрикнул: — Натрещалась? Как смеешь отговор и пререкание делать? От дружка непокорливость переняла?»

А она, как полоумная, свое твердит: «Не губи, не люб Сенька! Не губи!»

Оборвал ее: «Слышал припевку! Хватит! Княжеской воле перечишь? Прикажу на цепь посадить!»

И вовсе спятила: с колен вскочила, глаза безумицы — такие у волчицы видывал, когда волчат защищала.

«Воля твоя,— хрипит,— можешь убить! Все едино за постылого не пойду... Это нерушно, не пойду! Нет такого божьего закона!»

Можно б силой послушницу под венец повести, да стоит ли из-за дурехи закон церковный рушить, разговоры вызывать лишние?

Он позвал Кочёву, строго приказал связать непокорную и отправить в самый дальний монастырь Покрова Богородицы.

«Да никому в Кремле не сказывай, куда!»

...Вспоминая сейчас все это, князь припомнил и сумное¹ лицо Бориски. В последнее время зверем смотрит, только что не рычит. Нет, спокойнее удалить его из Кремля...

КОЛОКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Мастер Лука был нескованно рад возвращению Бориски.

Правда, юноша стал молчаливым, замкнутым, но и это нравилось Луке. Он не расспрашивал, почему возвратился, что произошло. Чувствовал — к этому притрагиваться нельзя. Только старался отвлечь Бориску от тяжелых дум и непривычно много говорил сам.

Бориска весь отдался литеиному делу, вкладывал в него и свою нерастренную любовь и проворство золотых рук.

Мастер, видя такое рвение, тем охотнее передавал свои секреты, накопленные почти за полвека труда, не мог нахваливаться учеником.

Был Борискадержан, не ветрен, не бражник. До работы не то что охоч — яростен, за год многолетнюю науку проходил.

Придумал люботрудец, как лучше малые колокола лить — получалось и быстрее и голос звонче.

Через три года Лука от простуды сгорел за ночь, и Бориска стал сам лить колокола.

¹ Сумной — сумрачный.



Фряжский гость подошел к колоколу и прислушался к его звуку.

Слава о нем шагнула далеко за Москву. Приезжали к нему из-за Оки и из Новгорода.

Однажды в праздничный день к Бориске пришел фряжский гость — высокий, пожилой, с бронзовым от загара лицом. Одет он был в темный камзол, на ногах ботинки с серебряными пряжками.

Бориска, в синей рубахе с открытым косым воротом, сидел в своей чистой клетушке рядом с мастерской, слушал певчих птиц на окне в клетках, поддразнивал их свистом.

— Добрый день, маэстро! — деликатно поклонился вошедший, переступая порог, и, сняв шляпу, открыл высокий лоб.

— Доброго здоровья! — гостеприимно ответил Бориска, вставая.— Садитесь,— предложил он, пододвигая лавку.

— Как поживаете, коллега? — усаживаясь, спросил пришелец, старательно выговаривая русские слова.

Бориска оглядел его веселыми глазами: что надобно этому заморскому гостю? Блеснул белоснежными зубами:

— Поживаем! Князья в платье, бояре в платье, будет платье и нашей братье!

— Люблю веселых людей! — улыбнулся гость.— Разрешите посмотреть работу вашу.

«Может, покупатель?» — подумал Бориска, а вслух сказал:

— Милости прошу,— и повел в соседний сарай.

Там на полу стояли отлитые Бориской гири для весов. Подтянутый к балке потолка, поблескивая медью, висел красавец колокол, сиял литым телом.

Гость быстро подошел к нему, ногтем побил по краю, прислушался к звуку. Звук родился чистый, долгий, красоты необычайной. На лице гостя появилось выражение изумления.

— Вы великий маэстро! — восхликал он восхищенно.

— Ну уж и великий! — возразил Бориска.— Однако кое-что умеем...

Гость приблизил глаза к языку колокола; приподнимаясь, осветил его лучиной. Вверху, у основания языка, клеймом выбито было непонятное слово «Фетинья».

— Что есть это? — спросил он, указывая длинными пальцами на надпись.

Лицо Бориски стало суровым, сказал тихо, с болью:

— Сердце мое...

Гость не понял, но переспрашивать не стал, произнес торжественно:

— Я есть всеизвестный колокольный маэстро Бартанелло. Я объявляю: вы есть достойный меня в искусстве!

Бориска от неожиданности резко обернулся, с радостью поглядел на гостя: «Бартанелло?!»

Вспомнил улицу Сарай-Берке, по которой несколько лет назад везли колокол. Думал ли тогда о встрече такой, о том, как судьба изменится?..

— Я приглашаю вас в свою мастерскую, в Рим. Вы будете получать там ваши рубли в двадцать раз больше, чем здесь!

Он сказал это голосом человека, который понимает, что достоин благодарности. Бориску задел и этот тон и это предложение. «Не много ли мнишь о себе? — с невольным недружелюбием подумал он.— Небось считаешь, что только у вас умельцы?»

Но сдержал себя, с достоинством поклонился:

— Спасибо. Землю отцов оставлять не собираюсь... И здесь руки умелые надобны.

— Да вы не понимайте, от какого счастья уходить! — с недоумением воскликнул Бартанелло.

— Все разумею,— спокойно сказал Бориска.— Спасибо за честь,— твердо повторил он.

Через неделю после прихода Бартанелло приехала в Москву на небольших саночках — крытом возке — игуменья из монастыря Покрова Богородицы, дородная, краснощекая, с важной поступью и властной речью.

Игуменья побывала у дьяков Мелентия и Прокопия, заказала переписать для монастыря Евангелие, зашла к знакомой настоятельнице, а перед отъездом разыскала колокольного мастера.

Долго ходила вокруг колокола, словно трещину искала, того дольше торговалась — выжилила-таки два рубля! — и наконец договорилась, что привезет Бориска колокол в монастырь самолично.

Отъезжая на саночках от мастерской, мелко крестилась, шептала слова молитвы: уж больно статен да красив был мастер, греховные мысли вызывал.

СНОВА ВМЕСТЕ

Вскоре после заговенья¹ Бориска собрался в путь. Он оделся потеплее, приладил на розвальнях колокол, окрутил его веревками, сам сел впереди и выехал со двора. Бориска обогнал прачку-мовницу, на санях, везущую одежду, миновал сады и очутился за городом. На реке, у проруби, парни били палками по льду, глушили рыбу и вытаскивали ее баграми.

Пошел неторопкий снежок. Издали одинокий сизый тополь покивал Бориске вслед.

Москву еще не успело занести сугробами, ее только легонько припорошило, то там, то здесь виднелись чернеющие бока бревенчатых стен.

«Бартанелло напрасно приманивал,— думал Бориска.— Хоть и тяжко живется в земле нашей, а ни на какую иную не променяешь — своя и в горести мила... В «Слове о погибели» сказано: «О светло-светлая и красно украшенная земля русская! Ты многими красотами удивляешь». Дивното как сказано! И верно — все дорого: и эти ели на опушке, и замерзшая Неглинка, и множество дымков из снегом припорошенных изб...»

Бориска еще раз с любовью посмотрел на Москву и неожиданно вспомнил, как несколько лет назад, осенней порой, он вот так же оглядывался на стены, глазами искал Фетинью. Стало грустно, тяжко на сердце...

Как зажили бы сладко, коли рядом была! Где она, ласонька моя единственная? Верно, сгубил ее лиходей...

Бориска нахмурился, плотнее запахнул тулуп; подавшись вперед, покрутил кнутом над конскими головами:

— И-е-е-ех, милаи! Что пригорюнились?

В монастырские ворота он въехал к концу седмицы². В большом дворе, застроенном салями, амбарами, чувствовалось обилие. У игумены в приемной толкался народ — богомольцы, мужики; пахло кипарисом, ржаным хлебом и луком. Игуменья виду не подала, что узнала Бориску. Когда он зашел, продолжала разговор с ниварями:

— Лес привезете — конюшни починить... А мы за вас,

¹ После 15 ноября.

² Седмѝца — неделя.

грешных, помолимся! — Она закатила глаза, повела снизу вверх жирным подбородком.

— Да к мы ж, матушка Агния, в прошлый месяц возили... — робко напомнил плешеватый старик, разминая в руках шапку.

Лицо игумены стало строгим.

— Не для нас усердствуете, для господа!.. Пряжу-то изготовили из льна, что дала? — резким голосом спросила она.— Сколь ждать?

«И здесь то же! — подумал Бориска.— А пошто и не быть, коли сам митрополит деньги дает в рост, когда и для него чужие руки убирают урожай, ловят рыбу, строят запруды...»

Наконец игуменья отпустила мужиков, сладенько пропела Бориске:

— А я-то тебя и не приметила... Привез, молодец, колокол? — Она заулыбалась умилительно.

Получив деньги за колокол, Бориска накормил коней, сам потрапезничал и стал собираться в дорогу. Стоя у пустых розвальней, возле самых ворот, он туже подтянул кушак и, надевая варежки, весело подумал о легком обратном пути.

Разгуливали по снегу галки. Несло из церкви ладаном. Там закончилась служба; неохотно зазвонил колокол. Звук у него был хриплый, надтреснутый. «Разве ж это звон!» — с пренебрежением подумал Бориска.

Через двор, не поднимая глаз, заплетающимися, мелкими шажками шли в свои кельи монашенки.

Бориска посмотрел на одну из них и обомлел.

— Фетиньюшка! — радостно крикнул он, не веря своим глазам.

Была она все такой же: та же родинка под левым глазом, те же зеленые глаза, широкобровая, любая.

Вот только осунулась, потускнело лицо, горестные складки легли у рта, и потому казалось — стал он меньше; да бледность покрыла щеки, и морщинки притаились у глаз.

Все это в мгновение разглядел Бориска.

Девушка бросилась к нему, припала к груди, и не успел никто во дворе слово промолвить, как Бориска прыгнул с нею в сани, глаза его сверкнули бешенкой — не подходи! — Он пронзительно свистнул и вихрем промчался мимо привратницы у ворот по дороге к лесу.



Кони, словно им передалось волнение хозяина, не мчались — летели стрелой.

В лицо Бориски ударяли комья снега, на поворотах сани заносило, и Фетинья, крепко вцепившись маленькими руками в их края, с тревогой глядела назад, нет ли погони.

Все произошло точно во сне, так быстро, так неожиданно, что они молчали, и, только когда серые стены монастыря скрылись из глаз, Фетинья вскочила, судорожно обняла сзади за шею Бориску — никакая сила не оторвала бы ее.

— Отрада моя! Дождалась тебя! — прошептала она и заплакала.

А немного успокоившись, еще всхлипывая, горячо зашептала, словно боялась, что кто-то услышит:

— Я не монашка-послушница, меня за строптивость и постригать не хотели. Я обещала Агнию: все едино убегу! Все едино! А она шипит... шипит... Всех послушниц защищала!..

Фетинья достала с груди колечко, что подарил ей Бориска, когда возвратился с похода, надела на пальц. Спросила радостно и тревожно:

— Теперь как же нам? Князь розыск начнет...

— Не найдет,— сурово сказал Бориска и левой рукой крепко привлек к себе девушку,— никому не отдам! Головой лягу, а не отдам! Будем жить далеко... в лесу. Избу построю... Много ль нам надо? Руки есть, любовь есть...

Хорошо будет! Да и не одни мы в лесу. Люду беглого там не счесть...

Кони мчались лесной просекой навстречу огненному диску солнца.

...Вторую седмицу ночами пробирался Бориска с Фетиньей дальними, глухими дорогами. Коней пришлось им продать.

В одном селении Бориске удалось купить для девушки теплую одежду, и теперь Фетинья совсем повеселела. Она то и дело начинала беспечально напевать, ласкалась к Бориске, и ей уже казалось дурным сном все, что произошло с ней за эти годы. На щеках ее снова засиял румянец, а глаза точно омыло живительной влагой.

«Суженая моя! — глядя на нее, думал Бориска.— Одна лишь любовь умеет вернуть младость, до края наполнить сердце...»

Но Бориску не покидало чувство тревоги за любимую. В Москву он решил не заходить — бог с ним, с добром, все оно не стоило мизинца Фетиньюшки, ласкового ее взгляда. Ее надо было спрятать, уберечь, но куда податься, у кого искать помощи?

И тогда он вспомнил о деде Юхиме. К нему-то теперь и держал Бориска нелегкий путь.

Дед Юхим встретил их как родных. Много не расспрашивал, все понимал с полуслова. Когда Фетинья, изнуренная путем, улеглась спать с невесткой деда, он тихо сказал Бориске:

— В наших-то краях беглый люд силу немалую собрал... Бояр потрошат, добро грабленое отымают у них по справедливости...— Пошевелил густыми бровями.— Вожак у них зо-ол на богатеев, ох зо-ол! Верно, налили они ему в достатке кипятка под шкуру. Да и кому не налили? Зеньки ненасытные! — Помолчал и совсем тихо добавил: — Андрей Медвежатник звать... сбег от казни...

Бориска задохнулся от волнения, вцепился пальцами в руку деда:

— Медвежатник? Это ж друг мой! Неужто жив? Дедусь, мне б свидеться...

— Повремени! — усмехнулся стариk.— Фрол мой возвратится с охоты, сведет тебя к дружку...

...Фрол пронзительно свистнул, и эхо долго носило свист по лесу. Но вот где-то далеко раздалось уже не эхо, а такой же ответный свист. Фрол поднес ладони к губам и, загукав, прислушался.

Вскоре из-за кустов вынырнул небольшого роста рябой человек в кожухе. В руках он держал узкие вилы, острыми зрачками недоверчиво уставился на Бориску. Увидев Фрола, сразу успокоился:

— Ты чё?

Фрол не торопился с ответом; недаром дед о нем сказывал: «На пожар и то шагом ходит». Помолчав, попросил:

— Проводи к Медвежатнику, дело есть...

Они долго шли лесом, сбивая с веток снежные комья, продираясь сквозь заросли. В одном месте даже ползли под землей и, наконец, к вечеру очутились на поляне, возле небольшой избы.

Проводник остановился.

— Погодьте,— сказал он и вошел в избу.

Волнение все более охватывало Бориску, он напряженно глядел на дверь, за которой скрылся рябой. Но, когда на пороге появился рослый человек и Бориска увидел его лицо, он отпрянул. Нет, это был не Андрей! Разорванный рот сросся кое-как, из-подо лба в багровых шрамах чернел углёнки чудом уцелевшего глаза. Клочья седых волос выбивались на висках.

Человек сделал шаг к Бориске, с горечью спросил:

— Не распознал?

Только теперь, по голосу, признал Бориска Андрея, бросился к нему, прижался к изуродованному лицу.

Они засиделись до полуночи. Бориска рассказал свою историю, Андрей — свою.

— Я от мучителя через стреху убег... доски отодрал. Только ногти там оставил... Сестренка постельничего Трошки подобрала меня на пороге, прятала, выходила... А Кочёва,— Андрей скрипнул зубами,— сжег Подсосенки... Приказал солью посыпать пепел хаты моей... Жену привязал к хвосту конскому, волок по земле... Отца хворого убил, Семенову семью истребил...

На мгновение Бориска представил заплывшее жиром лицо Кочёвы, жесткие глаза Калиты. «Все вы зверюги лютые, перебить вас мало!»

— Дозволь с вами оставаться? — попросил он глухо Андрея.

— А Фетинь?

— Единая у нас жизнЬ...

Андрей тяжело задумался.

— Оставайся,— наконец сказал он.— Ты умелец, поможешь нам волчьи ямы да хитрые засады для кровопивцев строить. Оставайтесь.

БОЙ В ЛЕСУ

Застыли деревья в предутренней мгле. Туман, как дым, стелется над землей, клубится меж стволов высоких сосен. Прокричал и умолк сыч.

Симеон едет на коне узкой тропой рядом с Кочёвой, думает с раздражением: «По лесу нельзя без опаски проехать». Покосился недобро на Кочёву: «Блюститель!»

У воеводы еще более обычного лица налито кровью: может, оттого, что новый серебряный шелом сдавливает ему узкий лоб, новые серебряные латы облепили грудь?

«Наконец-то отец убрал Алексея Хвоста,— продолжает размышлять Симеон,— и хорошо, что земли его Аминю отдал. Убедился, что предатель замыслил тайные сговоры с Рязанью».

Хвоста как-то поутру нашли на московской площади с проломленным черепом, немного не успел в Рязань сбежать. Князь приказал объявить по Москве: «Алексей от своей дружины пострадал».

Симеон усмехнулся: «Известна та дружина... Да и по делом подстрекале! Ему бы хотелось вернуть время, когда каждый боярин мнил себя властителем, а князья-спесивцы лишь о своих интересах пеклись. Вон на щите суздальцев лев изображен, стоит на задних лапах. И каждый, вроде Алексея, львом себя считал, хотя сам только хвост львиный».

Симеон подивился неожиданной игре слов, вспомнил, как в детстве, когда боярин проходил мимо, шептал ему вслед, но так, чтобы тот услышал: «Подожми хвост!»

Возникли одна за другой картины детства: игры на кремлевском дворе, прощание с отцом перед его отъездом в Орду, босоногая Фетинья в цветном сарафане...

С отроческих лет занимала она его мысли, не однажды

видел он ее во сне, неотступно следил за ней издали, знал о ее встречах с Бориской и за то бешено ненавидел его. И, когда отец сослал Фетинью в монастырь, Симеон даже обрадовался. Стало как-то легче — пусть ничья, если не его!

Но весть о похищении Фетиньи из монастыря снова все всколыхнула в Симеоне.

Несколько раз порывался попросить отца отправить в леса розыск, поручить ему самому поймать отступников, да не решался, боясь этим выдать свои потайные думы.

Неожиданно один из всадников, едущих впереди Симеона, с криком провалился в яму, искусно скрытую ветками, мгновенно ушел в нее в головой. Конь, напоровшись брюхом на колья, заржал, захрипел предсмертно. Симеон побледнел, осадил коня. Отряд в нерешительности сгрудился — вокруг были глубокие болота. В ту же минуту, точно из-под земли, выросли люди с дубинами и вилами. Один из них, вцепившись крюком на длинном древке в ворот всадника, покряхтывая, силился стащить его наземь. Всадник упирался обеими руками в шею коня, противился, но наконец ткнулся головой вниз, повис, зацепившись ногой за стремя.

Симеону удалось, вздыбив коня, повернуть его и проскакать несколько шагов назад.

То там, то здесь стали приседать на задние ноги кони с подрезанными сухожилиями, биться, сбрасывая всадников.

Однако замешательство первых минут уже прошло, и воины Кочёвы, поспешило соскачивая наземь, вытаскивали мечи, рубили направо и налево.

Стоны, хруст костей, вой и крики становились все громче.

Рассвело. Вдали все яснее проступало сквозь деревья розоватое небо. Защелкал и, словно испугавшись топота, звона, вскриков, умолк соловей.

Бледный Симеон застыл у осины, прижавшись к ней спиной, держа перед собой наготове меч с тяжелой рукоятью.

Вдруг глаза княжича расширились. В нескольких шагах от него отбивался от пятерых воинов ненавистный Бориска.

«Значит, и Фетинья здесь!» — мелькнула догадка, и княжич притаился, продолжая напряженно следить из-за продолговатого щита за Бориской, готовый в любую минуту броситься на него.

Широко расставив ноги, Бориска, казалось, врос в землю. Топором на длинной рукояти он наносил точные удары и уже свалил троих, но в это время четвертый подкрался сзади и тяжелой сулицей проломил ему голову. Бориска зашатался, обливаясь кровью, начал медленно падать.

Нечеловеческий крик прорезал лес. Обернувшись на этот крик, Симеон увидел, как неподалеку рухнула без памяти Фетинья.

В несколько прыжков княжич очутился возле нее. Привав на колено, стал торопливо скручивать ей руки. Он побледнел, губы его дрожали, лихорадочная мысль опалила мозг: «Будешь теперь пленницей... мою пленницей». Пальцы плохо слушались его.

Фетинья приоткрыла глаза. Увидев склоненное над собой лицо Симеона, рывком освободила руки, вонзила ногти в дряблые щеки княжича; вскочив, отбежала в сторону. С растрепанными волосами, с исступленно горящими глазами, она прокричала, скорее даже прохрипела:

— Падаль!.. Ненавижу!.. Падаль!..

По лицу Симеона прошла судорога, он злобно взмыл, ринулся вперед и с размаху нанес Фетинье мечом удар по плечу.

Она беззвучно опустилась наземь, будто покорно пропала к ней. Смертельная бледность покрыла ее лицо.

В это время рванулся из засады за бугром Андрей Медвежатник.

Еще сидя в засаде, Андрей понял, что перед ним отряд Кочёвы, и теперь, найдя уцелевшим глазом Кочёву, руша все на своем пути, пробивался к воеводе. Наконец встал перед ним лицом к лицу. Грудь Андрея тяжело вздыхалась, внутри что-то клокотало, шелом из волчьей шкуры сдвинулся назад, оставляя почти совсем открытым лоб со вздувшимися, красными рубцами.

Кочёва сразу узнал Медвежатника. С выпущенными от страха глазами, по-собачьи ощерив редкие зубы, он начал медленно отступать.

— Сосчитаться пришла пора! — глухо сказал Медвежатник и с вилами наперевес, почти касаясь ими круглого бухарского щита Кочёвы, двинулся на воеводу, испепеляя его угольком глаза.

Кочёва, пятясь, сделал несколько шагов назад, еще несколько шагов и вдруг исчез, тяжким грузом пошел на дно болота.

Андрей в ярости вонзил вилы в землю, заскрежетал зубами, из глаза его выкатилась слеза:

— Ушел, собака!

Он готов был зарыдать от бессилия, от неудовлетворенной жажды расплаты, броситься за Кочёвой в болото, найти его там и душить, душить ненавистную глотку!

Андрей опомнился. Вокруг затихал бой. Большая часть воинов Кочёвы была перебита, кое-кому вместе с княжичем удалось пробиться назад, ускакать.

Андрей с трудом вытащил из земли вилы и подошел к Фролу. Тот с перерубленным, перевязанным плечом неторопливо рассказывал Рябому:

— Я на его верхом сел, да рылом-то о корягу, рылом...

Андрей пошел меж тел, разбросанных по земле,— многие лежали, сцепившись с врагом, будто и в смерти продолжали бой. Сняв шапку, Андрей постоял возле Бориски.

— Убитых закопать,— глухо приказал он Рябому.— Раненых с собой возьмем... Подадимся вглубь...

Рябой подошел к телу Фетиньи. «Эх, жаль молодицу! Лежит, словно уснула, подложила кулачок под щеку. Лучше б меня, чем такую,— жизни не узнала...»

Она и здесь успела стать общей любимицей — обшивала, обстирывала всех, звонкой песней прогоняла угрюмость. А ее трогательная любовь к Бориске подкупала: радостно было видеть, что есть на свете такая нерушимая верность.

— Давай вместе их похороним...— предложил Рябой помощнику и начал ожесточенно рыть мечом могилу.

Вырыв глубокую яму, они подошли к Бориске, приподняли его, чтобы подтащить к могиле, уже понесли было, когда Бориска застонал.

— Жив! — радостно воскликнул Фрол и припал к груди Бориски. Сердце едва слышно билось, замирало, точно раздумывало, надо ли сделать еще удар.— Жив!

Закопав Фетинью и других погибших, они приложили к ране Бориски листы подорожника и, осторожно ступая, понесли его в глубь леса на носилках из сплетенных веток.

...Бориска пришел в себя на третий день, попросил пить, тихо сказал:

— Фетиньюшку покличьте...

Но никто ему не ответил. Бориска приподнялся, затравленно поглядел на опущенные головы товарищей, разом понял, в чем дело. Судорожно всхлипнув, опять погрузился

в беспамятство. Он бредил, пытался вскочить с носилок:

— За что ж они ее?.. Ее-то за что?..

Наконец утих, а еще через три дня с трудом поднялся; лицо осунулось, постарело. Глубокие морщины пролегли меж бровей. Глаза глядели сурово, в них словно спекся гнев. Кругом стояла тишина, только временами по верхушкам деревьев проходил ветер.

— Сколько наших осталось? — спросил Бориска идущего рядом Андрея.

— Меньше сотни...

Бориска сжал зубы. Оперся о палку, что держал в руке. Глядя прямо перед собой, сказал:

— Ничего. Теперь каждый за троих драться будет, зубами рвать глотки мучителям...

И медленно, упорно, словно преодолевая тугой ветер, пошел вперед.



МОСКВА КРЕПНЕТ

Торг раскинулся сразу у причала, взбегал вверх, к кремлевским стенам, будто искал у них охраны. От Бронной и Кузнецкой слобод несся несмолкаемый гул: там скрежетали напильники, огрызались зубила, то глухо, то звонко тукали молоты.

Купец Сашко глядел и глазам своим не верил: да неужто это матушка Москва?

Он вез из Сарая литовцам шелк и византийскую ткань — по коричневому полю золотые листья, — проделал тяжелый путь и на несколько дней решил остановиться в Москве.

Москва поразила Сашко размахом: не ожидал встретить такую. Совсем, совсем иной оставил ее много лет назад.

Куда ни глянь — всюду строилась, будто взялась с кем-то наперегонки; всюду пахло смолой, тесом, валялась щепа. Виднелись торговые дворы иноземных купцов, полны народом улицы бондарей, гончаров, овчинников, седельников...

Льнули к берегу плоты с бревнами. Вверх и вниз по реке шныряли новгородские суда — с орехами, медом, хмелем, светлыми щитами, сухой рыбой. Шумели водяные мельницы.

У причалов пристани, на берегу толкалось несметно людя: зазывали лодочники и скupщики, торговались драгиля с купцами, то там, то здесь встречались смуглые, желтые лица, мелькали тюрбаны, высокие мохнатые шапки, блестели серьги в ушах.

После тверского восстания перестали ханские баскаки ездить по Руси, и — это даже он, купец Сашко, живший далеко от родины, чувствовал — легче дышалось.

Над площадью стоял гомон от разноголосья.

Ганзеец, весь в розовых складках, высунувшись из лавки, хвалил прозрачный янтарь и яркие сукна; половецкий торгаш, прищелкивая языком, бил кожей о кожу; мужики окрестных селений сидели на возах со льном и коноплей, а рядом с ними гость с Белого моря навалил на прилавок «рыбы зубы» — моржовые клыки. Мыла-то, мыла сколько! Нигде оно не было так дешево, как здесь. И кузнечных товаров видимо-невидимо: топоры и клечи, ножи и подковы — выбирай что хочешь!

Сашко шел рядами, приценивался: ковры, ладан, сафьян, шали, галицкая соль, меха из Югры. Чего мало? Чего не хватает? Паволоки¹, пожалуй, мало — должна быть ходким товаром. Да и красок что-то небогато...

Внимание Сашко привлек высокий русский купец с коричневыми от загара лицом и шеей. Лицо показалось Сашко знакомым. Купец этот яростно, увлеченно торговался с армянином — покупал у него душистые травы. Они то неистово били друг друга по рукам, то купец делал вид, что уходит, а армянин, нежно хватая его за полы, возвращал назад, то клялись и божились каждый на свой лад.

На русском купце — полинялый, прожженный солнцем зеленый каftан, истоптаные красные сапоги, впитавшие, верно, пыль Царьграда и Хивы, Палестины и Багдада. Достаточно было посмотреть на омытое брызгами, овеянное ветрами многих морей лицо купца, чтобы представить себе: прежде чем попал он сюда, ему пришлось и отбиваться от пиратов, и переволакивать свои ладьи сушью, и садиться за весла, и ставить ветрила.

¹ Пáвóлок — шелковая ткань.

Наконец Сашко вспомнил: «Да я ж встречался с этим московским купцом в Сарай-Берке, купец даже останавливался у меня на дворе!»

Приблизившись, Сашко нерешительно спросил:

— Сидор Кивря?

Кивря, прервав торг, окинул быстрым, цепким взглядом подошедшего, обрадованно воскликнул:

— Сашко ордынский! Будь здрав!

Он пожал руку Сашко так крепко, что у того слиплись пальцы.

Был Кивря знаменит на Москве оборотливостью: закупал у иноземцев и перепродаивал сукна, с ватагой ловил в Печерском краю соколов, скупал у Протасия воск, у Данилы Романовича — копченую рыбу; покупал юфть и менял ее на пеньку, а пеньку на поташ; подкрашивал меха, клал в бочки с сельдью камни, а в воск подмешивал сало. И все это с азартом, божась и лукавя, с твердой уверенностью, что не обманешь — не продашь.

— Сашко, пошли пображничаем! — обнимая ордынского купца за плечи, предложил Кивря и, видя нежелание гостя, успокоил: — Да по ковшику, для разговору... По ковшику! Тебе тюленье сало не надо? Лежачий товар не кормит!

Они вместе стали выбираться из толпы.

Иван Данилович стоял с Симеоном на широкой строящейся стене. Уже вырисовывались стрельницы¹ высотой в три человеческих роста, крытые галереи, уже сколачивали мастера тяжелые, кованые железом ворота. Чернел далеко внизу ров с кольями.

Холопы, пригнувшись под тяжестью дубовых бревен — каждое толщиной в обхват, — подтаскивали их к основанию стены, поднимали вверх, до двенадцатого ряда. Другие набивали мелким камнем и обожженной глиной пустоту меж стен, мастерили перемычки. «Надобно сделать и второй вал с частоколом, — думает князь. — За стенами разбросать чеснок², а на башнях поставить поболе самострелов да чаинов для смолы. Нас теперь копьем не возьмешь!»

Лучи солнца, обласкав кремлевские крыши, терем на

¹ Стрельница — башня.

² Чеснок — металлические колючки, вонзающиеся людям и коням в ноги.

высоких подклетях, заскользили по Москве-реке, что, как сестра, протянула руку Неглинной. Легкая рябь пробежала по воде, и снова она стала спокойной, только вдали темнели головы невесты куда заплыvших мальчат.

Со стены видно, как бесконечным потоком движутся по Владимирской дороге богомольцы, всадники, пешеходы.

Много, бессчетно много на Руси дорог: глухих и топких, ближних и дальних... Словно чураясь Москвы, обходили они ее прежде стороной, торопливо вились, минуя черные леса, мхи и болота, к Твери, Новгороду, Рязани. А теперь, как малые реки, сливаются дороги в одну — на Москву. Ею пришел из Киева боярин Аминь, придут и другие.

Дымят мастерские и мыленки на берегу, приветливо машут крыльями мельницы, строится деревянный мост через реку; стук топоров перекликается со скрипом телег — неумолчный шум плывет над городом. Он плывет, как дождевая весенняя туча, радуя и обещая.

Кто бы мог сказать, глядя ныне на Москву, что при отце Ивана Даниловича сжег ее дотла подлый хан Деденя — шакал, породивший Щелкана?

Нет, не сжечь Москвы огнем, не снести мечом — вечно будет стоять!

Иван Данилович серьеzen и тих; его удлиненное, худощавое лицо задумчиво. Симеон — на голову выше отца — приподнял раздвоенный подбородок, вскинув голову, внимательно смотрел вдаль. Умные холодные глаза его отмечали оживленную суету у купецких амбаров, веселый торг возле пристани.

— Ты приметил, — спросил Иван Данилович, — кого в Орде после Узбека перехитрять придется, а может, и воевать?

Калита недавно был с сыновьями в Сарай-Берке, представлял их Узбеку.

Симеон вопросительно посмотрел на отца.

— Сынка его, Чанибека! Думаешь, пошто я ему обильные подарки слал? Он хоть и не старшой, а помяни мое слово: только отец издохнет — трон захватит, ни перед чем не попятившися. Уже сейчас, как собака, хвостом виляет, а зубы скалит!

— Сила у нас теперь есть! — с гордостью произнес Симеон.

— Есть, да еще мала... Потому и в Орду езжу. И тебе после меня придется туда до поры до времени наведывать-



ся!..— Князь, посмотрев на сына, требовательно сказал: — Без меня живите согласно, не затевайте пагубных раздоров! Кое-кто из князей уже понимать начал, что согласного стада волк не берет. Ты заставь у гроба моего всех младших братьев крест целовать, что будут жить одним сердцем, чтить отчее место, иметь единых врагов и друзей. Это мой твердый завет...

Внизу возник какой-то странный шум. Калита взгляделся, и лицо его осветилось радостью: везли соборный колокол, снятый у Святого Спаса в Твери.

— Послужи нам... — негромко сказал князь и, обернувшись к сыну, напомнил: — Ты, когда отроком был, мыслил: «Несправедлив отец к тверскому Александру». А он, честолюбец, знаешь что опять недавно надумал? Только разрешил Узбек ему в Тверь возвратиться, он, алча власти, с Литвой тайно стакнулся. У ханши в Орде поддержку купил... — Иван Данилович положил на грудь ладонь — ныло, покалывало сердце. Понизил голос.— Я на дороге письмо Александра к Гедимину перехватил, передал Узбеку. Отсекли наконец-то поганую тверскую голову!

— Давно пора... — прощедил сквозь зубы Симеон. Глаза его стали походить на синевато-серые льдинки. — Пока жив был, только и жди междоусобиц.

— Сам себе смерть уготовил! — жестко сказал князь. — Узбек теперь мне верит больше, чем своим темникам... Сам видишь: верчу им, как умею... Даже сына Александра Тверского — Федора — казнили.

Но Симеон слушал сегодня отца невнимательно. Снова неотступно придвигнулись, навалились мысли об убийстве Фетиньи, о страшных минутах, пережитых год назад в лесу...

Как ни оправдывал Симеон себя, что убил беглую, что она сама во всем виновата, что ему никакого дела нет до нее и даже зазорно думать о ней, — видения преследовали его. Тяжесть камнем лежала на сердце, острые жалости пронизывала сердце, когда вспоминал Фетинью, припавшую к земле, будто она к чему-то прислушивается и через мгновение вскочит на резвые ноги, и зеленые искры брызнут из глаз, и озорная улыбка пробежит по губам.

Но тотчас перед Симеоном возникала другая картина: когда, отбежав в сторону, Фетинья прокричала ему: «Падаль!»

И гнев снова закипал в груди, и он говорил себе: «Хорошо, что прикончил гадину!»

Калита проницательно поглядел на сына и, словно угадав, о чем он думает, вдруг спросил:

— Неужто не могли осилить... тогда в лесу?

Симеон застигнутый врасплох, побледнел, нервно хрустнул пальцами, ответил, будто оправдываясь:

— Много их было... А сейчас, слышал, еще более развелось. Как пожег Бориска владения Протасия, в лес с ним сотни три холопов ушло...

«Жаль, не удавил вовремя!» — подумал о Бориске Калите, а вслух сказал:

— Скоро татьбу прекращу... Пойди прими колокол...

Оставшись один, князь задумался. Глубокие складки пролегли у него меж бровей. «На Москве тишина и мир... А чего они стоят? Смерды бунтуют. Зятюшка Василий Ярославский лживит, извет готовил, поехал в Орду обещать перед ханом Александра Тверского. Жаль, что не перехватил я Василия в пути, напрасно расставил на дорогах полтыщи воинов своих. Ан не удалось и ему обезвинить дружка, — письмо-то мое сильнее оказалось... И в Ростове

не гладко, хоть и выдал Федосью за Константина Ростовского. Константин на сторону глядит. Послал к нему Шибрева для порядка, да этот перестарался — на ростовской площади подвесил вверх ногами воеводу Аверкия, палками бил. Оно-то и надобно — за неповинование, да не след так глумливо, к чему без нужды гусей дразнить».

Он стал спускаться со стены.

«Великий Новгород с литовским Гедимином заигрывает. Здесь бдение надобно и тонкость: посла их, Варфоломея, приласкаю, владыку новгородского и посадника с почестями приму, пошлю к ним миротворцем сынка Андреяку — пора привыкать мальцу. А сам в то время силы соберу... Двинские земли приручу... Новгородцев еще прижму! Вскоре можно будет и дань от них поболе требовать. Теперь, когда Узбек, мне поверив, казнил Александра, у меня за спиной еще большая сила. Руками Узбека могу недругов душить».

Он нахмурился: «Тишина и мир... Не легко они достаются. Потомки скажут: лукав! Иль поймут: мирник я, хитроумством, осторожностью предохранял от лишнего кровопролития. Русь хочет покоя... Неужто не увидят: за все время, что княжу, не было ни единого татарского набега на Русь. Смоги так провести ладью чрез пороги!.. Сумой путь прокладывать. Отец в наследство четыре града оставил, я — не менее ста сел и градов. Терпеливость иного ратного подвига стоит. Порой легче ринуться в битву, чем дальней обходной тропой карабкаться...»

Радуясь, вспомнил, как совсем недавно купил за бесценок у князей древние города Углич и Галич. «Не землю сбираю — власть!»

За воротами послышались шум, крики, и во двор ввели татарина. Он злобными глазами презрительно оглядывал окружающих.

Купец Кивря, до земли поклонившись князю, возмущенно сказал, кивая на татарина:

— Коня у меня угнал!.. Вот послухи. — Он обернулся и указал на нескольких московитян, толпящихся у ворот.

У Калиты недобро забегали желваки, он прищурил глаза и вдруг с ненавистью посмотрел на татарина. Разом нахлынуло все: унижения в Орде, кровавые Сюга и Туралик... Еще мгновение — и гнев захлестнул бы князя, он искромсал бы на куски вот этого выкорыща Орды. Но Калита сдержал себя.

— Что безобразишь? — хрипло спросил он.— Иль не знаешь, что Узбек мне близник, что на подворье послы ханские гостят? Думаешь, поленюсь гонца к хану послать, чтоб обезглавил тебя за насилиство, за то, что береженую грамоту нарушаешь?

Татарин сразу словно меньше стал, втянул шею, трусливо забегал по сторонам глазами.

— Прости...— забормотал он и заискивающе заулыбался.— Два коня пришлю, три...

— Пошел прочь! — тихо, зловеще произнес князь.

И татарин, пятясь, исчез в воротах.

«Как собака побитая! — подумал Иван Данилович.— Так и со всеми ими: если прикрикнуть да палку поднять безбоязненно — враз страшливыми станут...»

— А коней-то у него возьмите... трех! — приказал Калита Кивре и воинам, что привели татарина, быстрыми шагами пересек двор и поднялся по ступеням.

В полдень к московскому князю пожаловал Фряжский гость: не то посол, не то купец — не поймешь. Для посла — слишком прям и заносчив, для купца — тонок и велеречив. Одет богато: в камзол из аксамита вишневого, на пальце перстень чуден с ониксом.

Только вдвоем сидели в гридне.

— Вы отстали от нас на двести лет,— с презрительным сожалением говорил Фряг, не умея скрыть высокомерия.— Товара мало, кругом невежество...

Князь потемнел. Забывая вежливость, гневно сказал неприятному гостю:

— Вы неблагодарны! Мой дед спас вас на Чудском озере. Нам предначертано было поглотить татарскую силу, своей грудью принять жестокие удары. Истерзанная Русь стала неодолимой преградой, не дала затопить ваши земли. Ордынцы не смеют идти дале, оставляя за спиной у себя Русь...

«У этого азиата европейский ум»,— с невольной почтительностью подумал гость. Он изменил тон:

— Я не хотел обидеть вас, нам надо жить в мире и торговаться...

Князь поднялся, давая понять, что прием окончен.

— Ждем ваших товаров,— сухо сказал он и громко приказал слуге: — Проси египетского посла Ала-ад-дина Айдогды.

...В монастырской келье тихо и душно.

Пахнет воском, старыми книгами, ладаном. Потрескивает свеча. Под лавкой точат дерево мыши. Одна из них серым комком подкатилась к подолу рясы старца, стала ее обнюхивать. Старец с седыми, до плеч волосами сидит за столом. Под руками его шелестит желтый пергамент.

Монах неторопливо выводит буквы, и они причудливой вязью ложатся на лист.

«Того же лета заложен град Москва дубов, при князе Иване Даниловиче, при Калите. Ярлык хана обратил Иван на пользу Москве. Перестали поганни воевати Русскую Землю, орошать пепелища наши кровью жителей, и они опочили от истомы, тягости и насилий долговременных, и наступила тишина велика...»

Старец, отложив перо, выпрямился, растер онемевшую поясницу, утомленно прикрыл глаза.

«Тишина ли? Беглые хоронятся в лесах... Черный люд скжег коптильню сборщика мыта Данилы Романовича, а самого его избил на площади. Бориска подпалил владения Протасия... Писать ли о сем? Дабы собрат-летописец и через тысячу лет знал все без прикрас и сокрытий, не рылся бесплодно в пергаментах... Разве не должно прийти ему на помощь?»

Но тут же он вспомнил, что летописи его читает Феогност, что князь недавно, увидев запись о гиали, гневался: «Для кого стараешься? О чем пишешь?»

Вздохнув, старец перечитал фразу: «...наступила тишина велика», и поставил точку.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>К. И. Шаромов.</i> И снова в поиске	5
ТИМОФЕЙ С ХОЛОПЬЕЙ УЛИЦЫ	9
ХАНСКИЙ ЯРЛЫК	119

Для среднего возраста

Борис Васильевич Изюмский

ТИМОФЕЙ С ХОЛОПЬЕЙ УЛИЦЫ.

ХАНСКИЙ ЯРЛЫК

Ответственный редактор

С. М. Пономарева.

Художественный редактор

Л. Д. Бирюков

Технический редактор

Г. Г. Стан

Корректоры

А. Н. Гриберман и Э. Н. Сизова

Сдано в набор 14/VIII 1974 г. Подписано к печати 18/III 1975 г.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 11,76.
Уч.-изд л. 12,34. Тираж 100 000 экз. А03734. Заказ № 3298.
Цена 50 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская
литература». Москва, Центр, М. Чеховский пер., 1.
Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга»
№ 1 Росгравиполиграфпрома Государственного комитета Совета
Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли, Москва, Сущевский вал, 49.

Цена 50 коп.